Дина Рубина
Цыганка

Дина Рубина

Цыганка (сборник)

«Эксмо»

2005, 2006, 2007

Рубина Д. И.

Цыганка (сборник) / Д. И. Рубина — «Эксмо», 2005, 2006, 2007

ISBN 978-5-04-139553-7

Когда расстрелянная девушка выбирается из братской могилы; когда в собственной семье ты обнаруживаешь историю оголенной страсти и преступления; когда осуществляется великая мечта артиста перед аудиторией из одного зрителя; когда расследование убийства в зимнем туманном городе открывает каббалистические глубины спора Света и Тьмы; когда любой заморский пейзаж, как раковина — драгоценную жемчужину, хранит историю любви или ненависти, комедию или драму… тогда становится ясным, что всякая судьба достойна рассказа, если к ней обращены острый глаз и чуткий слух писателя. Содержание: Между времен Фарфоровые затеи. Рассказ Душегубица. Рассказ Цыганка. Рассказ Адам и Мирьям. Рассказ Дед и Лайма. Рассказ Ральф и Шура. Рассказ Посох Деда Мороза. Рассказ В России надо жить долго… Рассказ Между земель Туман. Рассказ По дороге из Гейдельберга. Рассказ Гладь озера в пасмурной мгле. Рассказ Белый осел в ожидании Спасителя. Рассказ

ISBN 978-5-04-139553-7

© Рубина Д. И., 2005, 2006, 2007
© Эксмо, 2005, 2006, 2007

Содержание

Между времен 6
Фарфоровые затеи 6
Душегубица 23
Цыганка 36
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Дина Рубина
Цыганка
Сборник

© Д. Рубина, 2021
© Стоцкая Ю., оформление переплета, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Между времен

Фарфоровые затеи

Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой

Она крошечная, смуглая, иссушенная – словно обжиг прошла. Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.

Просто жизнь

– Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит… Нет, не верит никому. Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка… Настрадалась от добрых людей…

Что это за свертки ты вытаскиваешь, какого черта? У меня все есть, я сама тебя сейчас накормлю… Ну, не хочешь – сиди голодной. Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет – это уже не возраст, это эпоха…

…Пойдем сядем на диван – он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упросила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но все ж поехал. Заходим, видим – стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний».

А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно его раскладывать? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берем!»

…Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да… И что – весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится все это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь… Вон любая старуха на лавочке – она тебе интереснее расскажет. Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя вот знаешь что – этому Президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моем сне спас Гулю от наводнения. Серьезно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остается за бортом. И, знаешь, мы плывем, а Гуля – за лодкой, и лает, и лает… У меня просто сердце разрывается от горя! Тут какой-то господин рядом со мной – элегантный, худой – аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да – и забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну скажи – как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит – вряд ли ему дадут что-то сделать хорошее. Ведь он не может окружить себя теми, кто умеет работать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? Пацаны с его двора, говнюки окаянные. Ты как относишься к плохим словам?

– К матерным?

– Ну да.

– Хорошо отношусь. Это же определенная эмоциональная краска в разговоре, иногда необходимая.

– А я могу и без них вытерпливать. Немного, но могу.

– …и Раневская ваша вот тоже…

– Да, доктор Бакулев знаменитый однажды пришел к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил ее очень… Мы с ней сделали обед, такой, приличный, но не шикарный – шикарный он не позволял. Пришел, говорит:

«На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

«Александр Николаевич, не сру!»

«Сейчас посмотрим».

«Что – посмотрим?!»

– Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопочку… Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы – легенда, так сказать, российского фарфора – дали на нее согласие. Я вот, знаете, долго не могла придумать, с чего разговор начать. А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала…

– …А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый семьдесят лет, – это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и – никуда от нее не деться…

– Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

– Чего ты не можешь, дура?! Тебе обязательно надо вот это самое – «родилась я в городе Тамбове»? А кстати, родилась-то я знаешь где? В Пензе… Дед был – миллионер, лесопромышленник; выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе… После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?»… Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

– А в Пензе… там большой дом был?

– Ну, домик кой-какой… Наша семья занимала весь верхний этаж. А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти… Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, не родной, сын моей тети Полюси. Родился, значит, Оська… И к нему шли с поздравлениями. Тетя Полюся стояла такая величавая, она у нас дородная была, в отличие от Саши.

– А… Саша?

– Саша – это моя мать. Я ее всю жизнь называла – Саша. Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

– Как это – свистела?

– Погоди, не плунтайся под ногами! Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!»… Я – про что?.. Да: так тетя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева, в разные стороны так разбегалась… И тетя Полюся стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках. Ему все несли какие-то приношения. А я – мне три года исполнилось – сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо говорила: «А мне – ничего». И все думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо.

Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальни… тяжелый, сволочь!

– Это вы – чтоб брата зарубить?

– Ну, само собой. Да, тащу топор… А наверху меня уже нянька моя, Настя, поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты ночью топор тащишь?» Я говорю: «Оську убить. Помоги мне, я не могу, он тяжелый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать. Грех это. Ежли родился, пускай живет…

– И вы смирились?

– Не сразу. Приходили все новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Этакий светский парижанин: я его помню не то во фраке, не то в смокинге… Кудрявый.

«Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?»

И я ему раскрыла сердце.

«Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська – это же кусок мяса, а ты – шикарная женщина!.. А я тебе привез гостинец!» Открыл коробку, и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отрава, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешевая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дороже ее у меня не было. И на этом кончились мои страдания.

Я ведь вообще – в раю жила. Огромный двор у нас был – рай настоящий… Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, теплое, оно так ни-изенько висело… И я подошла и вот так подставила руку, и оно, опушенное какой-то нежной пыльцой, такое… под-лин-ное… оно село мне в руку, улеглось, понимаешь? – не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь. Я ощутила это как чудо: оно недавно было – цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. И пошла с этим яблоком в кухню – показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шел всеобщий любимец селезень Васька. Шел себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепеленная шейка, глаз такой веселый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шел в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлебца каждый день. Все его любили. С добычей отправлялся к своим. Я увидела, что Васька идет в кухню, подумала: не буду мешать, обожду здесь. И села в траву… А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущенно и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй» – и что-то бросила мне в руки – холодное, мокрое. Я вышла на улицу, на свет – разглядеть. Это была Васина головка! Ладонь омочилась его кровью, белая пленка закрыла глазки… Я даже не плакала, я онемела. Несколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неописуемой красоты… Я не могу тебе даже объяснить, что это для меня было…

Пауза

– Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко. А что революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал… Ваша семья…

– У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алупке, в частном пансионе – у Саши были слабые легкие. Хозяином пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми глазами, с красной разбойной бородой. У него была охранная грамота, потому что на каком-то процессе, где Фрунзе приговорили к смертной казни, Овчинников его отбил.

– Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?

– Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на операционном столе…

Ну и отец повез меня на поезде в Алупку, к Саше. Тащились несколько недель, время-то было опасное, глумливое… Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи есть? Выходи!»

Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: «Вы куда нас ведете?» – «Сам знаешь – куда!» Тогда отец вынул золотой портсигар и сказал: «А вот, не пригодится ли вам эта вещица? Смотрите, какие драконы великолепные, какая тонкая работа»… Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный отцовскими папиросами, такими… благоуханными, буркнул: «Ладно, проваливайте, пока не смотрю!»

И мы с отцом бросились бежать… А ту, другую семью, голь перекатную, понятно куда повели…

И вот, не помню уж как – добрались до Алупки, разыскали пансион, где жила Саша, миновали огромный парк роскошный, вошли в дом, нам горничная показала ее комнату. Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела…

– Что-что?! Погодите, я н-не совсем…

– Мне было шесть лет… Мне показалось, что передо мной божество: Саша, в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной ее стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла – что это. И лишь когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела.

Я робко к Саше приблизилась… Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьем в поездах, да еще после того налета спали где попало, скитались по селам, добирались на попутных шарабанах… Можно вообразить, во что превратилась моя и без того всклокоченная голова. Саша склонилась ко мне, потянула носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела мыться…

И все это уже было счастьем: дивный парк… море…

– В те годы там живали многие замечательные люди…

– Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы – с 17-го по 25-й – многие интеллигенты скопились в Крыму: в Коктебеле, в пансионах в Алупке, Мисхоре… И Аверченко, и Тэффи, Волошин… всех не перечтешь – очень благородная публика. Я при них там крутилась. И еще были дети…

Мы учились там, знаешь? Например, рисовать нас учила художница Хотяинцева. Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным. Для нас все это был пустой звук, мы были маленькие невежды.

Да, Хотяинцева… Она поставила вазу на лавку, и в вазе три цветка – незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны…

«Где ты их увидела?» – спросила меня Хотяинцева.

«А мне так хочется!»

Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».

– Угадала…

– Да, вот такие люди. Потому-то и говорю таким языком – их языком… А Саша… она божественно свистела!

– Да что это значит, наконец?!

– Пока Саша была в Италии, кто-то научил ее свистеть, не открывая рта. Казалось, звуки льются прямо из души.

Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» – «Ну так что, лучше умереть грамотной, чем невеждой!»… Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор – специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземную, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья… А однажды мы дошли и – услышали тишину. Только занавеска под ветром безмолвно вырывалась

из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, все надеялись… Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с…»

– Рахманинов… Сколько же километров вы отмахивали?

– До Мисхора не так много… Каждый день в оба конца. Саша делала все, чтобы занять меня, отвлечь от еды.

– А голодное было время?

– Совсем голодное… Опухшие трупы на улицах.

Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?» – «Как это – «мимо»?» – удивилась она. «Ну вот я расту себе, пью, гуляю… а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»

И как раз в этот вечер… эта опустошенность – как вылетала из окна легкая тюлевая занавеска. И ни единого звука… «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с…» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.

– Сколько вы пробыли в Крыму?

– В 21-м году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сначала в Алупке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра. Потом приехал ее муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву… двадцать четыре дня.

– В Москву – двадцать четыре дня?!

– Двадцать четыре дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался без всякой причины, то вдруг без всякой причины мчался…

– А когда нападали на поезд, что отнимали – деньги?..

– Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошел совсем молодой, хорошенький такой. У него вот тут, на руке, висели сумки… Навел на меня дрожащий пистолет… кажется, он сам его боялся… Сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!» Повращал глазами и ушел. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?

– Ну а когда добрались в Москву?

– Вон, видишь, на книжном шкафу скульптура? Моя бабушка… Вот такая она сидела: величавая красавица рыжая, с рыжим котом на руках, у ног черный пудель, а на нем верхом сидел маленький королек-петушок. У него там было гнездо, на пуделе. Это первое мое впечатление в Москве… Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.

– А где вы там жили?

– Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился. В глубине двора – фруктовый сад, заборы все порушены… Сам Елоховский, правда, не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение, особенно в Страстной четверг.

– Вас крестили?

– Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется. И пусть будет что будет. Пусть нас вышлют». Но никто нас больше не тронул.

– В какой школе вы учились?

– В девятой, имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?

И праздники отмечали как-то смешно. Помню Женский праздник. Зал набит такими интеллигентными благоухающими дамами.

– А это женская школа была?

– Нет, нет. Просто мамы пришли на спектакль в их честь. И вот только представь себе: бывшая Медведниковская гимназия, очень добротно выстроенное прекрасное здание в стиле модерн. Внутри зал огромный… И я на сцене этого зала: беленькие в резинку чулочки, лаковые туфельки, черное бархатное платьице. И писклявым омерзительным голосом я выкрикнула: «Довольно обжигаться у горшков и мужу отдавать поклон! Сегодня делегатка я от всего рабо-

чего района!» Дальше забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале! И меня как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась.

– Завершение вашей артистической карьеры?

– Нет, зачем же. Я еще в нескольких спектаклях с не меньшим успехом участвовала. Но главное таинство помню: вступление в пионеры… Экзамены проводили не на шутку, задавали страшные идеологические вопросы. Дошла очередь до меня. Я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убежденные люди. По-моему, всех троих потом расстреляли. «Скажи, Горштейн (это моя девичья фамилия), когда было Боксерское восстание в Китае? Знаешь?»

«Никогда в жизни!» Мне было 11 лет.

«Ладно, дам тебе вопрос полегче, – говорит Яша Кронос. – Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем легкий вопрос». Совсем легкий! Да только я такая незадачливая…

«А что ж ты знаешь?»

Я сказала, что знаю все про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка: Шарлотта, убивающая Марата. Ну, я им все рассказала: какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми. Пытался погубить Французскую революцию, Францию… Очень пылко рассказывала про Шарлотту, как она жизнь свою отдала, чтоб тирана убить!

Они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год.

Когда я дома описала все это Саше, она сказала: «Так тебе и надо, охота тебе вступать в эту сволочь!»

В те годы завязались у меня многие дружбы. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы часто гуляли по Новодевичьему. Никаким заповедным в те годы оно не было. Так, просто кладбище по соседству. Много чего смешного там попадалось – например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит – морда как полено, говорит по телефону. Интересно – с кем это он говорит?

Мы с Саней сбегали с уроков, гуляли, все строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы… Его, само собой, посадили в свое время. Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе «Давным-давно», Саня гнил на лесоповале. Потом его реабилитировали, мы однажды столкнулись в коридорах Министерства культуры. Он бледный был, измученный такой, как с креста снятый… Очень скоро умер…

Пауза

– Евгения Леонидовна, а когда вы почувствовали, что вы – художник?

– Ну, ты как-то торжественно это. Сейчас, я задумаюсь… Да не было у меня никакого такого чувства. Не было. Сперва лепила на пляже из черной глины, потом из пластилина. Все удивлялись, как это у меня хорошо получаются всякие Золушки. Потом в руки попался альбом рисунков Сомова. Румяные эти красавицы, эта жеманность. Я была от него в полном упоении… Но так, чтоб почувствовала, мол, «нет пути иного» – дудки! А вот потом, когда появился Менделевич…

– Который скульптор?

– Вот. Понимаешь, Саша не любила моего отца. У нее был роман со скульптором Менделевичем. Но она почему-то считала себя обязанной жить в семье, со мною. Однажды был у них какой-то истеричный разговор с отцом, Саша заперлась в своей комнате и плакала там навзрыд. Я постучала, вошла к ней – мне было лет двенадцать – и стала уговаривать ее уйти из дома. «Саша, – говорила я, – не мучайся ты ради меня, уходи! Ну подумай: пройдет еще несколько лет, и какой-нибудь прохвост или негодяй станет мне дороже всего на свете…»

Она проволынила еще год и ушла к Менделевичу. И все разом повеселели…

– Так вы стали учиться у отчима?

– Ну, не совсем «учиться»… Скорее просто околачивалась у него в мастерской. Ты знаешь, что он учился во Франции, у Карла Росси? Это как получилось: он на Весеннем вернисаже выставил мраморную головку «Смеющаяся девушка», прелестная была работа. И она приглянулась богачу Гиршману, помнишь, Серов писал портрет его жены с палантином? Гиршман. Так он буквально влюбился в эту головку (она была с четверть натуры, мраморная)… И говорит: «Если принесешь мне ее домой, пешком, я тебя на два года отправлю во Францию учиться».

– Изверг какой…

– Да-да, Гиршман, богач, филантроп. Ну, Исаак Абрамович взвалил ее на плечи прямо с вернисажа да и поволок…

– Сколько же она весила?

– Не знаю. Наверное, много. Мрамор же. Мрамор, не что-нибудь, не вынутый, ничего. Да и на подставке…

– Сколько же он так шел, бедный?

– Не помню. Гиршман жил на Поварской. А где проходил вернисаж – не знаю. Сам Исаак Абрамович в то время снимал студию в Гранатном переулке. Недалеко от дома, в котором потом Берия жил. Этот дом Голицын строил для своей возлюбленной, цыганки Шурочки Христофоровой, с которой дружила Саша.

– В каких же годах это было?

– Спроси что полегче…

– Спрашиваю: значит, вы стали ходить в мастерскую к Менделевичу, и?..

– Ну да… просто сидела, смотрела. Однажды он делал какую-то вещь, деталь самолета или группу «Три летчика», и вдруг говорит: «Ну, скопируй что-нибудь из того, что можешь». Видно, как-то понял, что я смогу. Так я стала помогать ему на подхвате. Он в то время работал над портретами знаменитых летчиков. Громов приходил позировать после Чкалова – так это были день и ночь. Громов – денди, со стеком ходил. А Чкалов был обаяшка, очень простой, очень свойский… Ты знаешь, что он после перелета из Америки возвращался на пароходе? И какая-то знаменитая актриса на палубе ему сказала: «Если б я знала, что вы поплывете на этом пароходе, я бы сдала билет, вы испортили мне всю рекламу!» Понимаешь, на эту дурынду никто уже не смотрел. Все хотели потрогать живого Чкалова… А он позировал Исааку Абрамовичу. Ну, и Громов позировал. Я на одном сеансе слепила его фигурку как-то вот, за час. Бывает так, нашло какое-то вдохновение. Головочка манюсенькая… но такого сходства никто не мог потом передать. Исаак Абрамович подошел, посмотрел и сказал: «Мала голова» – и размял. Сердце у меня развернулось на другую сторону…

– И не простили вы ему?

– Дело не в этом. Я в то время вольнослушательницей ходила в такой… техникум художественный, в Леонтьевском переулке. Опоздала к экзаменам, студенты уже были набраны. Болталась я неприкаянная, кислая и – горевала… И Валерий Павлович, Чкалов, говорит: «Погоди, я сейчас все устрою. Как этому вашему Грабарю звонить? – Тут же набирает номер: – С вами говорит Чкалов Валерий Павлович, у меня к вам большая просьба: есть очень талантливый молодой художник-скульптор, примите ее на испытательный срок. Если она вам не покажется, вы ее прогоните, я не буду в претензии, а если покажется и будет работать, век вам буду обязан»…

– Да уж… свойский человек…

– Свойский! Так что я Валерия Павловича должна благодарить.

– И вы стали там учиться…

– …и это, доложу тебе, непростое было дело. Я ведь отчимом была обучена. А он как: сперва клал кучу глины, потом выкручивал оттуда носик, глазки, ротик и прочее… И когда

я стала этот способ при всем классе воспроизводить, все на меня смотрели как на монстра. Потому что скульптура строится с основания каркаса, с построения головы.

– Ну а Менделевич?

– …носик, это, брат, дело последнее, а не первое. Если с носиков начинать – ничего не выйдет.

– Но ведь у Менделевича выходило?

– Когда как… Профессора по скульптуре у нас менялись часто, пока не пришел наконец Александр Терентьевич, Матвеев. Ну, я у него, по-моему, вызывала только отвращение.

– Почему?

– Плохо я работала, очень плохо. Когда он, бывало, ходит по классу и встанет так за твоей спиной, ты как бы начинаешь видеть скульптуру его глазами, и тебе открывается все, что напортачила. И это было ужасно… Стала я нанимать модель и вечерами лепить в мастерской… Девочку одну нанимала. Девочке было лет семь, я ей платила рубль за сеанс, она была довольна. Только очень мучилась неподвижностью, все время приговаривала тоненько: «Побегать-побегать-побегать-побегать…» – и ногами сучила…

И однажды вдруг слышу за спиной знакомый стук палочки. Обернулась: стоит Александр Терентьевич, смотрит… Говорит: «Я думал, все обстоит гораздо хуже». Большей похвалы я никогда в жизни от него не слыхала. Счастлива была безумно!

– А вы ведь уже были вполне взрослым человеком.

– О чем ты говоришь! Я замужем давно была. Муж мой, Боба, поляк, был черный график – знаешь, что это такое? Это когда автор пишет научную книжку с чертежами и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник, график, по его наброскам делает в книгу профессиональные чертежи… Боба такой был добрый, мы жили в коммуналке, с соседями, так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал – на конфеты, на мороженое. На аборты… ну, позже, разумеется. Но страшный был игрок! Такая моя пожизненная беда, что поделаешь. Играл ночами… Однажды я прождала его всю ночь, а он пришел под утро. Я была страшно разъярена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо – подлинный Федор Толстой. Выиграл. Ну, что ты ему скажешь. Во-он оно, висит над тахтой. Он потом мне шали выигрывал, длинное серое платье из ангорской шерсти… И, главное, все эти выигрыши-проигрыши они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой картежницей. Но Феня играла в дворницкой, а Боба – в высших сферах.

– А у вас, вы говорили, тоже домработница была.

– Так это Сура наша, Сара Яковлевна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле впечатление было, что я у нее в домработницах.

Женщина подлинной судьбы, соответствующей веку. В юности муж ее бросился в партию, она – в комсомол. Его в положенное время расстреляли, а ее на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: «Если он враг, то кто же вы тогда?» Ее вывели прямо из зала. Десять лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела одиннадцать лет, говорила: «Меня спасло то, что я месила тесто. Иначе бы я сдохла». Знаешь, огромные плечи… Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила, такие словечки выговаривала – к нам гости, бывало, придут, и каждый старается с Сурой Яковлевной разговориться. А потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве…

У меня была птица знакомая, одноногая голубь. Прилетала ко мне на свидания, я ее кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Сура говорила: «Прилетала ваша голуб. Она так кричала, так кричала, даже войла!»

– Евгения Леонидовна, а ведь время было какое… людоедское! Как вам в те годы жилось-то?

– А, знаешь… да, людоедское. Оно, конечно, так… Вот говорят, мы все в страхе жили. Но… как бы это тебе объяснить не крамольно, по-человечески. Мы весело жили. Мы были молоды, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны – «Националь», «Континенталь»… Танцевали там…

– Что танцевали?

– Бостон, танго, чарльстон… Домой возвращались часам к пяти утра. И если видели перед подъездом черную машину, то прощались друг с другом.

А летом… как ехали в Рыльск? Поездом до Курска, потом пересесть, потом нанять лошадку худенькую, и – сорок километров лошадкой. Поселиться у пани Ващук, самогонщицы. Меня она называла «пани млода Ракицка». В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга. Потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды – груши познания. А главное событие было – приезд театра из Курска. Пани Ващук надела лучшее платье, на бретельках, «брильянты» – вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками… Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг – все ли видят, что рядом с ней сидят друзья «с Москвы»?

Что это был за театр! Ничего смешнее я в жизни не видела. Пьеса называлась «Платок и сердце» – из крепостной жизни. Главный герой-любовник во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера. Мы старались не смеяться, нас бы растерзали. Это было грандиозное событие – в городке, где последней сенсацией было убийство царевича Димитрия.

– Евгения Леонидовна, ну а когда все началось-то: ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая?

– Ну ты сразу: знаменитая! Погоди… Мое дело, говоришь… С чего началось Дулёво? Это все опять Александр Терентьевич. Он нам дал задание – это было под конец войны – сделать дома эскиз, композицию на вольную тему, и принести ему на показ. И все несли кто что: кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползет, кто выполз, кто не дополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех, – поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных пораскидала и заявляет: «Это эскиз памятника падшим женщинам». Хохот поднялся немыслимый. Она: «Чего вы смеетесь?» Матвеев ей: «Памятник пав-шим!» – «Ну я же и сказала: падшим!» Потом я развернула свою работу, и хохот уже стал просто гомерическим. У меня шел медведь и нес на руках Татьяну, которая упала в обморок.

– «И снится чудный сон Татьяне». Известная ваша композиция.

– …Я людей лепила тогда отвратительно. Медведей – ни разу. Так что чудесная была группа. А Матвеев так задумчиво смотрел-смотрел… и вдруг говорит: «Но это же совершенно фарфоровые затеи!»

– Так и сказал – «затеи»?

– Да, говорит: «Совершенно фарфоровые затеи… Вы попроситесь на практику в Дулёво». Я говорю: «Ну, кто меня примет?» А он: «Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите, у вас все получи…»

Дулёво

– Ну вот, здравствуй… Это ты молодец: сказала в десять, явилась в два. Молчи, я понимаю, дела и мишура, жизнь, любовь, измена, месть. А мы с Гуленькой тебя очень ждем. Гуленька, ну где ж ты, покажись, тетка же приличная оказалась, хвосты порядочным людям не поджигает… Нет! Вот непреклонная душа! Диван оно надежнее…

Среди всех моих зверей – а ты можешь представить себе эту армию? – Гуленька самая кроткая, самая деликатная. А самым благородным был Зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчика вынесет прокис-

шего, а кто и вовсе о нем забудет. В общем, пес безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну, как столб.

– Так он такса был?

– Он был никто. Просто длинная собака. Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая черная голова и белая маечка. И наступила зима… Никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый. Погреться у батарейки зимой, 23 градуса мороза… А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна, спустилась прямо в халате вниз, говорю: «Пойдем жить ко мне». И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам, я налила ему супца с мясом, сложила вдвое ваточное одеяло… Он набросился на еду, лег и проспал двадцать два часа. Потому что очень настрадался. Потому что понял, что никто не пнет, не ударит. Кротости неземной… А кто из гостей его Зятем назвал, не помню. Лицо у него было – ну, «морда» же не скажешь – мудрейшее, глаза как на портретах голландских мастеров… Такой великолепный был пес. Хромой. Судьба их ко мне приводит…

…Ну, давай уж сразу чай пить, в тот раз ты меня провела: некогда-некогда, да и хвостом вильнула.

– Просто пленка закончилась, а другой не запаслась.

– Сегодня запаслась? Идем на кухню…

– Только я сама все буду делать, ладно?

– Давай, черт с тобой. Я здесь, в любимый угол законопачусь и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько… умеешь? Чашки на второй полке, слева. Там же хлеб. А сыр в холодильнике, в дверце. Там – трех сортов от трех гостей. Только мне завари крепкий, чифирь…

– А сердце?

– А плевать… Ну-у, пошла проводки разматывать… Розетка позади тебя. Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот то-то…

– Евгения Леонидовна… Мы в прошлый раз остановились…

– Слушай, а может, ну ее к лешему, эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных. Лучше ты вот расскажи…

– Евгения Леонидовна!!!

– Ну, хорошо, хорошо! Сразу и гром, и молния. А мы про что говорили в тот раз?

– Про Дулёво. Как все начиналось…

– Как начиналось… я про Александра Терентьича Матвеева рассказывала? Как он мне письмо написал рекомендательное в Дулёво? Ну вот… А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд, шестичасный – пешачком идти с площади Восстания на Курский вокзал. Пришла. Села, сижу на скамье. А рядом стоит… Ну это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женщинка, вот такая, как я сейчас. Кроха в митенках. И поскольку нас двое оказалось в такую рань, завели разговор. Я спрашиваю: а вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться? «Это я не знаю. Я поеду до Орехова. Я хожу по поездам, пою». Я не сразу поняла, что это ее заработок. Что, спрашиваю, поете? «То, что знаю, что смолоду пела. Хотите, вам спою?» – «Да я ж тут одна, что с меня взять». – «Все-таки я вам спою…»

Забыла этот романс… «Она была мечтой поэта…» Нет, не помню. Но сидела, слезами умывалась. Она говорит: «Хотите, еще что-нибудь спою?» – «Нет, я не хочу вся зареванная приехать в это треклятое Дулёво!» Она еще постояла и ушла…

– Но вообще-то песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые.

– Одна была просто гениальная! «Соловушка где-то в саду-у-у…» Нет, он сперва входил – в черных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой, и громким уверенным

голосом говорил: «Братья, сестры, я вас не виззжу, я не виззжу бозжжий свет, но я вам спою!» И вот он пел: «Соловушка где-то в саду-у-у, в гуще душистой сире-е-ени песенку пел о любви-и-и, клялся любить без изме-е-ены. Я ли тебя не люби-и-ил, я ль на тебя не моли-и-ился, след твоих ног ца-лова-а-ал, чуть на тебе не жени-и-ился!»

– Жуть как трогательно…

– А дальше так: «Я пред тобой провини-и-ился, ты торопливо ушла, так я и не извини-и-ился. Зачем же так горько страда-а-ать, зачем так безумно влюбля-а-а-аться. Любовь не умеет проща-а-ать, любовь не умеет смея-а-аться»!

– Потрясающая песня!

– Я говорю: «Вы сами ее сочинили?»

«Да нет. Ее все поют. Городской романс».

«Спойте еще раз, я вам дам 3 рубля. И запишу слова». Три рубля тогда были как сейчас 300. А он мне: «За 3 рубля я вам сам слова напишу!» Снял черные очки, глазки вострые такие оказались, видел, конечно, не хуже нас. Достал вот такой огрызок карандаша. Послюнявил и записал слова. Ну как я могла тогда, дура набитая, не оставить этот документ! В нем было девятнадцать с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня!

Так вот, под всякую энтую музыку три часа надо было ехать на поезде до 85-го километра. Там, как тогда говорили, «вылазить» надо, и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком семь с половиной километров до сухой дощечки-указателя «Дулёво». И все маленькими деревнями… Все кругом интересно, все мне нравилось. Так, значит, Дулёво сюда, а напротив – Ликино… Не помню, у какого писателя, кажется, у Чапека, непрерывная война саламандр. Так же и у них было, у Дулёва с Ликино. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось все с футбольного матча. А Ликино – это же бывшая морозовская мануфактура. Ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с дулевско-фарфорской, выходили гончары-керамисты, здоровенные бугаи. Сходились на поле, жаждали драки. Всем не важно было, чем кончался матч, им бы только дождаться, чтоб он скорее кончился, – броситься друг на друга!

И вот тогда я поняла, что это такое – настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побежденных мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. «Матч» этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще-то смешно. Но в первый раз я была потрясена эпической картиной: как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали, и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтоб друг друга слышать. А привыкши так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса.

– Евгения Леонидовна, расскажите про первый свой день в Дулёве.

– Ну, вот я тебе и рассказываю. Пришла, значит. Попала в перерыв. Было начало первого. А перерыв кончится в два. На проходной мне сказали – вы посидите, подождите… Рядом был такой скверик. Тополя, каких больше нигде на свете нет. Это я ответственно тебе говорю. Выше пятиэтажного дома. Просто уходили в небо. Стволы толстые-претолстые. Шелест у них нежный такой…

– Серебристые тополя?

– Серебристые, да… И где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник, который в это время играл серебристого Мендельсона. А на земле кругом, как посмотришь – такая яркая, особенная, серебристо-зеленая мурава… Я сидела, млела и думала: господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают! А тут еще откуда ни возьмись явились шестеро белых гусей. Невиданной величины гуси, ну, как диван. Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг. Ко мне подошли: ты кто такая? Словом, я была ослеплена Дулёво еще до того, как переступила порог проходной.

– А потом?

– Потом разговор с директором. Захолустный такой, добрый человек. Прочитал записку Матвеева, сказал: «Ну ладно, попробуй, может, у тебя что-нибудь получится. Ты что хочешь?» Я показала – вон, видишь, на полке стоят эти большие чайники? – что я хочу такой вот чайник расписать. У него в кабинете заготовки рядком стояли. «Ну, это тебе не справиться». – «А я попробую. Мне покажут…» И прямо в этот же день я его расписала, чайник. Вот он там стоит, синий, с розовыми цветами.

– Значит, ему сколько лет? В каком году эта первая поездка в Дулёво?

– Вот как начинается – в каком году, – тут швах дело…

– Приблизительно – сороковые-пятидесятые?

– Да, конечно, сороковой с гаком, почти пятидесятый. Мне объяснили, что его, чайник, надо задуть, потом прочистить… Но тут уж рассказывать тебе технологию – это до вечера, бог с ней совсем.

– Кого задуть? Печку?

– Темная ты баба… Для того чтоб получить синий чайник, его надо задуть из пульверизатора синей краской. А потом надо же на нем рисовать. Сначала чистить места, где будет рисунок. Значит, расчищаешь так, чтоб не повредить это дутье. Потом пишешь на этом красками… Потом ставишь в огонь… Потом не живешь на свете: не порвет ли его и как он выйдет?

Вышел он хорошо. Все меня одобрили. Тут как раз приехал главный художник Дулёва, мужичок такой круглый, лысый, абсолютно беззубый, ну ни единого, представляешь, зуба! Причем дикция превосходная у него была.

– А как же он без зубов говорил?

– Пес его знает. Говорил. Много, долго да так торжественно… Уверен был, что приехала темная баба из Москвы. Посмотрел на чайник и сказал: «Беру эту женщину на завод. Только вы бросьте институт». Я спросила – почему? «Он лишит вас непосредственности». Я сказала: пускай лишает. Если бы Пушкин не знал букв, он бы «Евгения Онегина» не смог записать. Так и я. Выучусь там грамоте, это вам не помешает. Словом, приняли меня на завод.

– Трудно было сперва?

– А ты как думала. Подселили меня – вернее, сама я прикипела к нему – к старому мастеру Маслову… Там как жили? Еще старинной кузнецовской постройки дома, двухэтажные, сложенные из бревен. На каждом этаже две квартиры по три комнаты. Вот он, Маслов-то, старик, меня к себе и взял. Мы очень быстро подружились. Недели через три как-то ночью он стучит ко мне в комнату: «Женюра, вставай! Вставай скорее!» А я смотрю на ходики: четвертый час утра.

– Он вас Женюрой называл?

– Женюрой. Меня там все звали Женюрой сначала. Потом, через годы – Евгения Леонидовна. Потом, в конце, просто – Леонидовна.

– Так, говорит, вставай? Чего – вставай?

– Вот и я: «Чего вставать-то?!» – «Вставай, вставай, там узнаешь – чего. Одевай, хоть чего не то накинь, побежим»… Я босиком, в рубашке, как была, выскочила. Идем прямо в сад. У него маленький фруктовый сад. И там… не знаю, как тебе изобразить… Пели соловьи! Он меня повел слушать соловьиный хор! Это было упоение! В каждом маленьком садике – вот как две комнаты моих величиной – сидели и пели соловьи! И все, кто соображал, выходили их слушать… И так возвеличился он в моих глазах, Маслов этот. Потом он сказал: «Ты слушай только меня. Знаешь, старики зловредные какие! Подсказывают новеньким приемы, после которых у тех все наперекосяк. А ты слушай меня. Я тебя под свою руку беру. Если тебе скажут, что ты поплюй сперва на стекло, потом помой его – не слушай. Знай, что это уж гиблое стекло. Нельзя, чтоб слюни или вода попали на стекло, на котором расправляется живописная краска». Ну, тут масса мелочных секретов. В общем, стала я работать. И, как все начинающие, была нахальной, самоуверенной. С чего начинает начинающий? С Петра Великого, тихо-скромно.

– И вы с Петра начали?

– А как же… Когда через несколько лет я его случайно увидела на складе готовых изделий, я подумала: господи, откуда была такая наглость? Я слепила балерину на тонких ножках с выпученными глазами. Ужас! Обожгла. И что он никому не понравился, меня очень обидело. Мне казалось, это очень талантливо. С годами проходит, слава богу. Чем больше умеешь, тем меньше понимаешь…

– Евгения Леонидовна, а как вы пришли к своему театральному циклу? Как это было?

– Знаешь, у меня какое-то воображение приемистое – я что увижу, мне сразу хочется это слепить. Смотри, вон, наверху – «Встреча любовная», видишь? У нас во дворе жила девочка Катя, и совсем в другой семье – собака Смелый. Они жили в разных подъездах, но выходили гулять одновременно и бросались в объятия друг другу, как влюбленные. Он первым делом облизывал ей все лицо. Она целовала его в нос. Я наблюдала это изо дня в день и не могла не слепить. Такая это была невозможная, искренняя любовь. А театр… не знаю, почему я решила, что надо лепить театр… Саша моя очень любила театр. Особенно «Принцессу Турандот». Ну и втемяшилось мне – слепить Турандот.

А что это значит? Я отходила двадцать семь спектаклей! И ничего не могла придумать. Ступор какой-то. Верный признак – надо бросать затею к чертовой матери… Потом как-то с одного спектакля пришла и все нарисовала, как должно быть. Ночью. А утром рано встала и сразу начала лепить. Причем жили-то мы в коммуналке, само собой. Кроме нас, в ней жило еще сорок два человека. Один гальюн, одна ванная.

– Я даже представить себе не могу.

– А ты вот представь. Просто жили так, и все. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило…

– Евгения Леонидовна, а так называемая «оттепель», она каким-то образом вас затронула? В литературном мире она многое перевернула. А вот в мире вашем, художественном, в фарфоровом мире, – произошло что-то существенное?

– Наш «художественный» и наш «фарфоровый» – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех московских выставок, законов, споров, цеховых благ всяческих. И дрязг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться мы выставлялись, конечно. Однако были наособицу, самостоятельные, ни на что не претендовали. Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от МОСХа или нет, этого никто не знал… А Турандот, в общем, я слепила, и получилось красиво.

– Еще бы! Знаменитый ваш цикл, четыре работы. Я даже эскизы видела в каком-то журнале.

– И в МОСХе, когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую и я сама не ожидала, – решили эту работу подарить театру – от Союза художников. Уже я тут как бы и ни при чем. И вот начался очередной спектакль «Принцесса Турандот», пошел занавес – на сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Ну, словом, мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя… Сперва ей специально саркофаг сделали, на колесиках, в нем она паслась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Местечкин. Я, помню, спрашиваю его: «Почему на колесиках? Это же слишком *покато?*» А он мне, милый человек, отвечает: «Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли… Тут у нас, бывает, и гроб стоит». И умолк. Через десять дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе…

Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековечной женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже пер-

вое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет: «Ну что ж ты не идешь?» – а он сидит за столом мертвый.

А через десять дней после него умер мой муж…

Пауза

– Вот как…

– Вот так…

Ну… так это, значит, первая моя была театральная работа. Потом еще были другие, много, но гораздо слабее.

– Это вы себя судите строго, как художник.

– А как еще я себя должна судить?

– А после «Турандот»?..

– А сразу после нее Чеховский музей заказал мне целых десять работ. Ну, Чехова упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был такой человек сладостный. Почти слепой.

– Директор чего?

– Чеховского музея в Мелихове.

– Евгения Леонидовна, а вы знали Книппер-Чехову?

– Видела один раз живьем. А за глаза не любила всю жизнь.

– Почему?

– Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнущая сигарами и вином, развязная, веселая, бесцеремонная. Сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его! Ну я, как могла, все же свела с ней счеты, все-таки постаралась.

– Каким же это образом?

– Я делала композицию «Вишневый сад», и там она такая… рыдает! Работа детальная, условия жесточайшие: вот «Вишневый сад», будьте добры сделать нам две большие группы многофигурные, и чтоб точно те исполнители, которые играли в Ялте на премьере, да с портретным сходством, и все детали костюмов и декораций извольте соблюсти. Ну и где это мне было разыскать? А все-таки удалось каким-то чудом.

– В архивах?

– Нет, просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии. Так Книппер… Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями…

– Она ведь Раневскую играла в «Вишневом саде»?

– И потом еще в «Трех сестрах» я тоже, как могла, сделала ее не очень обворожительной.

– Жестокая месть художника. Я знаете о чем хотела вас спросить… Вот художник-живописец: пошел, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал что хотел.

– Вот именно: ура, все кончено. А у нас все только начинается…

– А с чего начинается?

– Во-первых, дурынду эту надо на завод доставить. Хорошо, когда уже появилась машина или такси… А так ведь это непросто. Она или глиняная, или пластилиновая. Это все весит. Ну ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс – ее режут на куски; потом ее обратно соберут, но пока что зрелище – груда кусков из того, над чем ты тряслась, как над младенцем. Потом ее формовщики форматируют. Потом садятся автор с помощником, и монтируют эти куски как было. Монтируют, зачищают. Вот отсюда – спасибо партии за это! – силикоз у меня. Да и у всех на заводе. Раз в году проверка: приезжает автобус с оборудованием, выстраива-

ется очередь. Входишь в этот сумрак: повернись вправо, повернись влево, повернись спиной. Силикоз. Следующий! Ну ладно. Потом, когда она уже зачищена, ее надо окунуть в глазурь.

– Зачем?

– Чтоб блестела! Ведь это все блестящие вещи. А бывает «бисквит», и ничем не политой, как мрамор он. Такую скульптуру делать проще, но она и хода не имеет. Значит, ее надо полить. Полить – это как? А вот надо взять ее, особенно если она большая, этак в две руки, и погрузиться в чан, с половину этой комнаты величиной, по пояс. Вот так окунуться туда и медленно вынуть ее.

– Как?! А это же вес большой?

– Конечно, большой.

– А кто это делал?

– Я, или если я не могла поднять – вдвоем с помощницей, или мужика звали какого.

– Вы же хрупкая женщина!

– Ну какая хрупкая, господь с тобой! Я была выносliва, как лошадь. Какая там хрупкость. Хрупкие не осилят этого… И вот уже она у тебя в руках, с нее стекает глазурь. Надо донышко подчистить, потом поставить ее так, как она будет обжигаться. И она должна сохнуть. А если она искренно так сохнет в мастерской, это длительный процесс. А если ее сушить искусственно – это риск.

– Лучше, чтоб сохла сама по себе?

– Конечно. Вот она высохла, слава богу, ура, ничего с ней не случилось. Теперь ее надо отнести аж через весь завод в другие *муфля,* где ее обожгут.

– Муфля – это цеха?

– Это обжиг. Муфельные печи. Сперва были только *горна*. Были такие *конселя* с полстола величиной, из шамота. Туда ставилась работа, и выбиралась она оттуда примерно на третьи сутки. Лезешь туда – 50–60 градусов.

– Боже мой!

– В том-то и дело: боже мой. Снимаешь эту коробку. И достаешь то, что вышло. Не дай бог тебе с этим вылезти на улицу или чтоб форточка открылась в этот миг. Ветерок налетит, работа простудится и треснет прямо у тебя в руках. Значит, ее надо, как младенца, в ватник завернуть и сидеть с ней, пока не почувствуешь, что ее температура с твоей сравнялась. Тогда ее можно в мастерскую нести, там спокойно рассмотреть, как она получилась. Получилась, слава богу!

Но это еще не все. Когда она поступает в печь, она попадает в температуру сорок, примерно сорок пять градусов. И на вагонетке медленно движется… Вагонетку чуть потряхивает, и это скульптуре тоже вредно. А другого выхода нет, по воздуху она не поплывет. Значит, ползет этак, потом сворачивает. И вот там, где ты сидишь, там кульминация – там температура 1400 градусов. А поступает она туда – в каком виде? Вот как если б ты ее сделала из сливочного масла в жаркий день. И за эти несколько секунд она из жалкой мягкой глины превращается в фарфор! Но этого мига ты не знаешь, не видишь! Не дано тебе, это тайна сокрытая, Божественная! О том, что превращение свершилось, ты узнаешь, только когда работа выйдет, как Феникс из огня…

Пауза

– А… потом? После этого?

– После этого идешь в живописный цех с своей цацей. Опять же, сколько она весит, столько весит. Все – твое…

– А сколько это может весить?

– Мало ли. Скульптурка может быть такая махонькая, а может быть «Ревизор» неподъемный. Или «Ковер-самолет». И вот уже там, в цеху, начинаешь расписывать. И тут тоже ни одного неверного движения невозможно допустить. Причем есть краски, которые не любят совмещения никакого. Проще всего покрыть поверхность и по ней расписывать. Но те художники, что искали на белом расписать так, чтоб было не хуже, – по-моему, настоящие подвижники.

У нас даже есть рабочая страшная поговорка – как обращаться с вещью при росписи: «Как вся жизнь». Так и обращаться, понимаешь? Как вся жизнь…

И вот она расписана! Красотища, глаз не оторвать! Айда обжигать! Если это маленькая вещь, она едет в вагонетке и обжигается себе; если размер серьезный – в печь ее круглую. Открывается дверца вот такой толстоты. Там два отсека. И не больше трех вещей можно сразу обжечь. И ты начинаешь вилять хвостом незнамо как, перед этим пьяницей Салтыковым…

– А что – Салтыков?

– Он горновщик, и все в его руках. Он может усилить огонь, ослабить огонь. Раньше времени открыть, позже открыть.

– Испортить?

– В какой-то мере от него зависит. И это тоже надо пережить. Умолить, чтоб три часа не открывали, чтоб не трогали вещь. Но ведь если кому срочно надо, приходится открывать. Откроют и вынут.

– Это очень вредно?

– Не просто вредно, – рискованно. Все можно погубить. Ну вот… И когда наконец ты ее приняла на руки свои, расписную красавицу… Завернула в ватник, принесла в мастерскую и там сидишь, высиживаешь, ждешь нужной температуры… И вот раскрываешь! И вдруг – все получилось!!! Это счастье…

Как настоящая любовь…

Пауза

Это и есть любовь… Потому что иногда думаешь: господи, ну где были мои глаза, вот это… Петр Великий на тонких ножках! Он как живой передо мной. Глаза вытаращенные, дурак дураком.

– Евгения Леонидовна, а когда вы перестали ездить в Дулёво?

– В восемьдесят пятом. Официально уволилась с завода. Меня пригласил директор и сказал: «Евгения Леонидовна, мы должны уволить двух скульпторов. Нам на будущий год ставки сократили»… Мне этот суконный язык советских отчетных собраний, знаешь, ненавистен. Вот вызывает Всевышний к себе святого Петра и говорит ему: «Петр Абрамыч, нам на будущий год две души сократили…» Да, и вот этот туда же: «Кого вы рекомендуете уволить?» Я тогда уже старейший скульптор была, заслуженный лауреат, то-се… меня на кривой козе объехать никакой возможности не было. Ну, кого из своих коллег, из товарищей-цеховиков, я могу рекомендовать уволить? Говорю: «Увольняйте меня». И он засуетился, обрадовался, что так все полюбовно, без огорчений. Сказал: «Вам остается пропуск, квартира, право делать творческие работы на заказ. Все остается, кроме зарплаты».

– А у вас квартира там была?

– Ну какая там квартира, господи! Полуподвал с железной койкой, из щелей деревянного пола крысы выходили поздороваться. Иногда кошка приносила полкрысы в подарок – делилась со мной. Мы с ней приятельствовали…

– И вот там-то вы жили по нескольку недель подряд?!

– А как же. Когда работа идет… Тогда уже ничего, кроме нее, ты не замечаешь, ничего и никого, кроме нее, тебе и не нужно…

Пауза

– Евгения Леонидовна, дорогая… Спасибо вам огромное! Думаю, материала для интервью достаточно. Дней за пять я это все обработаю и… Ответьте только уже «не для протокола» – вы никогда не жалели о выборе?

– Ты просто как мой дед. Он дожил до девяноста пяти, перед смертью все вздыхал и говорил мне: «Лучше бы ты стала фармацевтом!»

– Это который дед – тот самый, лесопромышленник, миллионер?

– Тот самый, который: «Яша, ты этого хотел?!»

– А если окинуть взглядом всю жизнь…

– …это уже не жизнь, это эпоха!

– …окинуть взглядом знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, чтобы выбрать – в каком ее периоде очутиться вновь, то вы бы?..

– Дулёво.

– Потому что – работа, творчество?

– Потому что – свобода… Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картежника и гуляки… от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы… Потому что – любили меня там, были там друзья, помощники, приблудные звери… И какая-то была райская чистота души, рук и глины. Вечная первозданность мира: глина… огонь… новорожденное Творение. Потому что в эти часы и мгновения ты – как Бог…

Пауза

…как Бог…

Пауза

…как Господь Бог…

Душегубица

Моя тетя Берта была убийцей.

В юности она забеременела от своего двоюродного брата, красавца, умницы и шалопая, и когда он посоветовал ей обратиться к Лежбицкому, известному доктору по дамским кручинам (деньги, кстати, твердо обещал), – подстерегла его с банкой серной кислоты и плеснула в лицо. Он страшно закричал, бросился за ней, упал и умер. Вернее, так: умер и упал – у него было слабое сердце.

Собственно, теткой Берта приходилась не мне, а маме. Так что корректирую временны́е координаты: дело происходило в начале прошлого века.

Тут важно представить культурное общество и уютную жизнь маленького городка, где разворачивается действие. Почтенное семейство Когановских, мой прадед Пинхус Эльевич и прабабушка Хая… Они не то чтобы очень богаты были, но все ж кондитерскую фабричку держали. Не бог весть что, работали на предприятии всем семейством, и было кому работать, между прочим: пять дочерей, одна в одну. Не шутка! Девочки сидели на завороте – заворачивали конфеты в фантики: мастерство утомительное, требовательное, все на быстроте пальцев. Виртуозы работали со скоростью конфета в секунду.

– Конфета в секунду?! – недоверчиво спрашивала я бабку.

– Ну в две, – отвечала та.

Берта была второй по старшинству. Между прочим, она и образование получила неплохое – класса четыре гимназии, кажется. И обладала немалой склонностью к точным наукам – но это так, к слову. А на дореволюционной карточке, что хранилась… Господи, ну почему – хранилась? Просто валялась в толстом альбоме, кочевала меж картонными листами, оттесняемая к концу, к самому концу… – так вот, на той старой карточке (почему-то в них, в отличие от фотографий позднейшего времени, всегда присутствует душа мгновения, не правда ли? – незримый отпечаток тихого ангела, что пролетает в минуты, когда ты напрягаешь взор и держишь легкую улыбку в губах, ожидая отмашки фотографа: готово, барышня! Что улавливали из эфира эти матовые пластины в считаные секунды – одна… две… три… четыре… – когда клиент сосредоточен, чтобы не мигнуть, держать спину и выровнять бровь?) – на той, повторяю уже утомленно, картонной, с ажурными краями, постановочной карточке Берта, недавняя гимназистка, стоит, опершись на обломок коринфской колонны: за спиной романтические развалины замка в духе Ватто, на кисть намотан ремешок плоской сумочки – блик на ее металлической пряжке своей живостью не дает мне покоя лет уже сорок.

Пухленькая темноглазая девушка, изумительная кожа – это видно даже на картонке цвета слоновой кости. У нее и в старости были гладкие румяные щечки.

С тех пор как мама под страшным секретом рассказала мне историю этой страсти, я пытливо вглядывалась в девичье лицо на фотографии: пристальные глаза под чуть припухлыми веками, ремешок сумки вокруг изящной кисти, узкий нос туфельки из-под платья… – когда это, когда? До? Или после? До? Или после того, как *умер и упал*?

Итак, мы вернулись к началу. Он умер и упал на крупный булыжник мостовой, шипя лицом…

Растрепанную и обезумевшую от икоты Берту притащили в участок прохожие свидетели, и вплоть до суда, почти до родов, она таки посидела в кутузке.

Между тем убитый (как остывает кровь и гаснет свет в этом глухом и тесно сколоченном слове!), убитый молодой человек приходился прабабушке Хае родным племянником! Люби-

мым сыном ее родного брата. Старшим – у брата было еще двое сыновей. И прабабушка Хая – ангел, ангел, нечеловеческой доброты существо! – не в силах снести… да, именно это слово: *снести* страшной тяжести позора и горя, – пошла вешаться в сарай за конфетным цехом.

Конфетный цех и сам по себе сараем был, но побольше и светлее. А в том, что выбрала себе для погибели прабабушка Хая, варили патоку в котлах. Из деревянных ящиков там прорастали и заплетались в узоры запахи цукатов, корицы, ванили, сушеных яблок, вишен и слив. Лимонной и апельсиновой цедры…

В юности я довольно явственно представляла те несколько мгновений, что она успела повисеть… – по счастью, в сарай ворвались родные и вынули бедную из петли. Мое паскудное воображение, спущенное с цепи еще в раннем детстве, рисовало висящую в густых испарениях патоки старуху (прабабушка Хая тогда старухой вовсе не была!), ее лицо в испарениях приторного удушья…

Короче, ее вынули из петли.

И самое поразительное для меня в этой истории то, что оба родных брата погибшего явились в суд свидетельствовать против него!

Кажется, я могла бы написать рассказ о том, как эти два мальчика провели ночь перед судом. Старший брат, их кумир, гордость семьи, лежал в могиле, а они должны были публично предать его память, выгораживая злодейку, убийцу, гадину. И они это сделали! – так эти мальчики любили и жалели свою тетю Хаю. Каждый поднялся и произнес роковые слова обличения: да, брат был легкомысленным обманщиком, совратителем невинной девицы… И далее что полагается…

На скамью подсудимых не глядели, только на прабабушку Хаю, сидевшую в углу в черной шляпке под густой вуалью.

Ну а теперь скажите мне: где тот Шекспир и кому он нужен?

Свидетельства братьев произвели на присяжных такое впечатление, что Берту оправдали.

Хотя потом, когда изредка она приезжала в Золотоношу навестить родителей (а после родов Берта с младенцем тотчас были сплавлены к дальним родственникам в Полтаву), оба этих брата не только не показывались в теткином доме, но и покидали город на то время, что проклятая убийца отравляла воздух своим дыханием.

Дальше… дальше семейные воспоминания по линии Берты как-то теряют четкость, расплываются, вихрятся в потоках революции и всего того, что за ней последовало, – например, экспроприация конфетной фабрички, которая все равно без Берты приходила в упадок: да-да, единственная из всех сестер, она не сидела в заворотчицах, а вела бухгалтерию, все расчеты держа в голове – что кому из заказчиков сгружено, от кого получено и кто задолжал. В светлейшей голове под легкомысленными кудряшками с легкостью проворачивались все финансовые операции; горы конфет – блескучие, пестрые, золоченые центнеры конфет пересыпались, шевелились, струились в этой голове…

Но я отвлеклась.

Всем уже было не до Берты. Из прерывистой и остатней памяти семьи мне удалось выколотить, что мальчик ее, дитя страсти и преступления, прожил недолго: в три годика он умер от тифа, хотя Берта берегла его пуще собственных глаз (и уж гораздо пуще глаз его покойного отца), для чего даже устроилась уборщицей в детский дом, куда и определила ребенка, чтобы находиться все время рядом.

Однако не уберегла.

Все остальные дочери, заворотчицы (о, фамильная сноровка в пальцах, о ней – позже) Катя, Рахиль, Вера и Маня, разъехались из Золотоноши кто куда, сменив место жительства и

заодно уж отчество; новое время потребовало некоторой смены фасада, и почтенный прадед Пинхус слегка преобразился: Рахиль и Вера переделали его в Петра, Берта и Маня нарекли отца Павлом (тем самым придав и без того библейскому его облику нечто апостольское). Что же касается старшей, Кати, – та вообще почему-то стала Афанасьевной.

Глубоким стариком перед самой войной прадед пустился в долгое и обширное по географии путешествие – он навестил всех дочерей. Вернувшись домой, сказал прабабушке Хае:

– Хорошо, что у меня нет шестой дочери. А то на старости лет я превратился бы в Ивана.

Но – Берта.

Как жаль, что желание различить свои черты в предыдущих коленах родни приходит в том возрасте, когда валы времени уносят неумолимо щепки человеческих жизней. Не нарочно ли это задумано для того, чтобы каждая новая жизнь прокатывала и прокатывала заново считаные сюжеты судеб; молодость с ее животной жаждой сиюминутной жизни, молодость, отметающая все, что было до – вот наилучшая плотина между потоком времени и озером человеческой памяти.

Берту я помню кругленькой румяной старушкой, утомительно четко произносящей вставными челюстями идиотские партийные лозунги. Да она и сама была «партейной» (так и произносила это слово) годов с тридцатых. Светлейшая голова идеально совместила счетное дело с государственной идеологией.

В период великого голода на Украине Берта устроилась работать в хлебный магазин, и благодаря феноменальной своей памяти очередь отпускала с невероятной скоростью: предъявления карточек не требовала, держала в голове – кому сколько положено.

Так вот, где бы она ни жила, в первую голову шла становиться «на партейный учет». Исправно платила взносы и посещала партсобрания.

Словом, жила она и жила в этой неразличимой и тоскливой для меня сердцевине прошлого века в… Мариуполе. Отнесло ее течением от всей семьи и бросало в разные стороны.

И вот тут надо бы ухватить ниточку параллельного сюжета и тихонько так, осторожно, чтобы не порвать, подтянуть ее, связав с главной, хоть и прерывистой нитью повествования. Но для этого нужно вернуться в тот день, когда фотограф говорит юной Берте: «Момент, барышня!» – и ныряет под бархатную попону старого деревянного ящика на треноге, и колдует там, во тьме, над матовым стеклом, компонует кадр и наводит резкость. А за спиной юной девы – развалины романтического замка, и сумочка на руке, и нога в остроносой туфельке победоносно утвердилась на кудрявой капители.

В эти самые минуты с улицы через витрину ателье на Берту смотрит ученик реального училища Мишенька Лещинский, смотрит безнадежно и влюбленно. Он даже урок пропустил, таскаясь за Бертой по городу: а вдруг хоть на минуточку в его сторону глянет карамельно-шоколадная дочка Пинхуса Когановского! Да только где он и где она, и кто он такой, единственный сын шляпницы Розы?

Старше его на два года, Берта просто ослепительна: кожа гладкая, брови шелковые, золотистые, румянец акварельный… (В детстве старшие девочки ловили ее и послюнявленным платком терли щеки – убедиться, не румянит ли, паршивка?)

А когда стряслось это с нею… Как сидел он в зале суда с колотящимся сердцем, не отлучаясь на перерывы. Как смотрел на нее во все глаза! И больно, и страшно – человека ведь убила, родная, родная моя! Представлял: это он, это с ним… Это жизнь так отдал…

И внутри все закатывалось и обмирало…

Загибался Мишенька от любви, ходил затуманенный и очумелый, в училище остался на второй год, так что мать хлестала его по лицу чьей-то шляпкой, что под руку попалась, и называла несчастьем, идиётом и гойским бездельником…

* * *

Ну а далее декорации меняются кардинальным образом: советская власть, что открыла широкую дорогу беднейшим слоям и так далее, оказалась для Миши Лещинского просто тетей родной. Его судьба сложилась на редкость уютно: он благополучно окончил какой-то технический вуз и, грянув оземь, оборотился завидным женихом. Хорошее жалованье, видный мужчина. Спец.

На фотографии, где они с Бертой смотрят в объектив с деловитой готовностью подняться и ехать немедленно туда, куда пошлет судьба, Миша Лещинский – мой любимый дядя Миша – очень похож на великого артиста Чарлза Спенсера Чаплина. Ростом тоже был невелик, косая волна кудрей надо лбом, глаза навыкате, усы – жесткой щеткой, скорее эйнштейновские…

Самой большой привязанностью его жизни была я. В смысле – именно я.

Но я как-то все время сбиваюсь в сторону.

Так вот, куда бы ни занесла ее одиночья злая доля, Берта нигде не теряла великолепной цепкости к обустройству быта. Ее светлейшая голова всегда просчитывала наперед возможные варианты и всегда разрабатывала самый плодоносный.

В очередной приезд к родителям Берта столкнулась с бывшим своим жалким воздыхателем, сморчком и тютей, преображенным до неузнаваемости. Он в эти годы жил в Днепропетровске, работал инженером где-то на производстве, но, как и Берта, приезжал в Золотоношу навестить мать. Та по-прежнему сидела в шляпной мастерской – в провинциях дам стало меньше, шляпки пошли на убыль, но вовсе не перевелись. Старуха потихоньку продолжала сметывать шелковые подкладки, крутить проволоку для ромашек и фиалок, подкалывать булавки.

Берта как раз и забирала от нее новую шляпку: серый фетр, бордовая ленточка по тулье. Скромно, элегантно. Цветка не надо. Они столкнулись в дверях.

Миша отпрянул, вспыхнул и побледнел. Инженер, спец, видный мужчина… Жалко было смотреть… и ужасно приятно! Берта просчитала все разом и до конца. Участь Мишина была решена и раздавлена.

Когда она вышла, Роза-шляпница с неостывшей улыбкой, с которой уговаривала Берту «заглядывать почаще, на той неделе завезут настоящую соломку…», уже брызгала слюной и шипела сыну:

– Ни за шьто! Ты не пойдешь с нею, не пойдешь! С душегубицей! Душе-гу-би-цей?!

Увы, история любовной горячки и страшного преступления Берты много лет оставалась в городке любимейшей темой пересудов. К тому же старуха опасалась за жизнь единственного сына: это жь уму непостижимо – шьто там у нее в голове, у этой дикой женчины, не приведи господь!

Однако встреча была уже назначена.

Из Золотоноши свидания перенеслись в Днепропетровск и Мариуполь, Мариуполь и Днепропетровск, опять в Золотоношу… Лет семь, кажется, – история библейского Яакова наоборот! – лет семь продолжалась борьба за Мишеньку Лещинского: война не на живот, а на смерть между румяной и по-прежнему обольстительной Бертой и старой ведьмой, изощренно проклинающей на идиш душегубицу и всю ее родню.

Не нужно иметь светлейшую Бертину голову, чтобы просчитать исход этой битвы: рано или поздно шляпница должна была пасть, рассыпаться, как старая крепость. Она и вправду с годами приходила в упадок. Память туманилась, забывались имена и даты… Но образ душегубицы и ее злодеяние – едва сын вскрывал новое письмо – всплывали перед старухой в подроб-

ностях, в речах обвинителя и защитника, взрывах рыданий в зале суда… вызывали прилив свежей ярости – короче, шляпница молодела на глазах.

Последняя битва разыгралась в Днепропетровске, куда Берта должна была окончательно переехать к инженеру Лещинскому жить. Жить! Наконец-то жить, после стольких лет унизительного и горького прозябания.

Она купила билет на поезд, дала телеграмму о приезде, Миша белил спаленку, переделанную из кладовки…

Дня за два до выстраданного Бертой великого воссоединения старуха в своей богом забытой Золотоноше напряглась, поднимая ведерко с углем, и грохнулась на пороге. Она таки организовала себе паралич. Левая рука, правда, шевелилась. Этой ядовитой рукой она скорябала Мише телеграмму: «Через мой труп воскл». Соседка побежала на телефонный узел, вызвала инженера Лещинского с работы, и на другой же день тот примчался забрать к себе мамашу. Беленая спаленка пригодилась.

Эта история в родне пересказывалась как спектакль, увлекательная пьеса в исполнении знаменитых актеров. О воплощении пьесы позаботилась Маня, младшенькая Пинхусова девочка, тоже ловкая заворотчица, Маня по прозвищу Вдовья Доля, которая и сама заслуживает отдельной новеллы, и когда-нибудь ее таки получит.

Передаю события, не меняя ни слова, – они все, эти девочки-заворотчицы, были актрисами от рождения; как соберемся, бывало, говорила бабка, почнем россказни, да как завернем, завернем такое!.. – лучше всякого театра.

Так что я, пожалуй, просто выпущу на сцену Маню, которая в это время оказалась в Мариуполе у Берты в гостях и стала свидетельницей события.

– Я-то Бэтьке баулы помогала складывать. Она говорит – все, все заберу! Там у Мишеньки дом холостяцкий, так я и тряпочки, и полотенечки…

Ну а я утюг на угольях чуть не весь день держу: оно хоть и в чемоданах, хоть и помнется непременно, а все же какие ни есть складочки останутся… Вдруг со двора почтальонша орет: «Берта Павловна! Вам телеграмма!»

Та выскакивает, и нет ее, нет… Что за притча, думаю? А утюг-то у меня на угольях, и я при нем… Вдруг входит Бэтька: бледная, пружинистая, сует мне под нос этот листок:

«Читай!» – говорит.

«Да у меня утюг на угольях!»

«Читай, Маня!»

Читаю по белому черным: «Приезда воздержись». Два слова! Но я таких двух слов ни себе, ни своим дочерям, ни племянницам, ни невесткам… Шутка ли, после семи-то лет: «Приезда воздержись»! А?!

«Что скажешь?» – спрашивает Бэтя, а глаза сверкают как безумные, и куда-то за спину мне смотрят… Счас, думаю, как бы она в меня чем не… плеснула. Ша – молчу, молчу!

Растерялась, говорю: «А что сказать? Это ж тебе не Талмуд, чтоб его так-эдак толковать. Написано воздержись, значит, воздержись…»

«Э не-е-ет! – и улыбается зловеще, холодно так улыбается, что у меня, несмотря на утюг под рукой, аж мороз по коже! – Не-е-т, – говорит. – Я этой телеграммы не по-лу-ча-ла!»

Тут Маня держала торжествующую паузу и заканчивала с неизменным восхищением:

– Светлейшая голова! И железный принцип!

Не знаю, скончалась ли старая шляпница сразу после того, как увидела четырнадцать Бертиных баулов, или пожила еще чуток… Какая разница? Вскоре началась война, и в Ташкенте, вернее, в Чирчике, куда был эвакуирован машиностроительный завод, Миша с Бертой оказались уже вдвоем.

Ее поставили директором заводской столовой. Прошу вдуматься и осознать смысл этой фразы, держа в уме военное время, небывало холодные зимы, голод, карточную систему, талоны на обед. Основным блюдом в меню значилась легендарная «затируха» – мучная похлебка, единственным достоинством которой было то, что она беспрерывно кипела в котлах.

На затирухе Берта могла озолотиться. Десятки директоров подобных столовых стали за военные годы богатейшими людьми.

– Но только не Берта, – говорит мне мама. – Она была кристальной честности коммунистом. Кристальной!

При этих словах я представляю себе кристаллики серной кислоты – хотя понятия не имею, как она выглядит, надо бы спросить у знакомого химика. Я ведь никого еще не убивала и даже не помышляла никого изуродовать; то ли яростная фамильная страсть оскудела, то ли просто случая не представилось…

– И больше того, – добавляет мама. – Ни себе, ни Мише не позволяла лишнего половника в миску. Его коллеги по работе, бывало, просят: «Миш, сказал бы ты своей, пусть лишний талон выпишет, жрать охота!» А он в ответ: «Да она и мне не дает…»

И в самом деле, всю войну проходил настоящим доходягой.

Однако бедняками Берта с Мишей не были. Работали оба тяжело, особо тратить было не на кого, детей у них не вышло и не предвиделось: Миша оказался бездетным. Одно время сестры (трое из пяти остались после войны в Ташкенте, Маня, младшенькая, «а мизиникл», вернулась на Украину; семью Веры, в честь которой названа моя сестра, в самом начале войны расстреляли вместе с прабабушкой Хаей под Полтавой немцы) – так вот, сестры уговаривали Берту взять на воспитание живую душу, ведь послевоенные детские дома были переполнены сиротами.

– Чужого ребенка? – уточняла Берта. – Чужую кровь? Ни за что!

Так что деньги, или, как говорила Берта, «средства́», у этой пары бездетных голубков постепенно копились.

К тому же была у Берты еще одна зыбкая и, боюсь, противозаконная статья дохода. Время от времени, ближе к вечеру, к ним захаживали негромкие солидные мужчины, сидели недолго и уходили, оставив на столе столько, сколько совесть велит, – твердой таксы Берта не называла. Это были цеховики: с наплывом в Среднюю Азию эвакуированных толп в наших теплых краях небывало расцвели подпольные цеха. Я отлично помню кое-кого из этих неприметных цеховиков, живших по соседству. Дядя Саша, отец моей подруги Ленки, сначала изготовлял костяные гребешки, потом перешел на перьевые подушки.

Эта подпольная деятельность, о которой вполголоса говорили взрослые, представлялась мне чем-то вроде копошения гномов в темноте под землей. Время от времени кто-то из них неосторожно высовывался, и дракон с сакральным – судя по затаенному ужасу, с каким произносили его, – именем ОБЭХЭЭСЭС изрыгал огонь на бедного цеховика… В зависимости от величины взятки, жертву, обреченную на заклание, удавалось выкупить или, по крайней мере, скостить срок отсидки.

Помню обрывок странного разговора, услышанного мною в трамвае в детстве:

– …а что Зяма?! Он отбыл свою пятеру и снова пошел класть голову на плаху…

И я, придурковатое дитя арбузных рядов, запроданная Александру Дюма с потрохами, уплаканная до соплей над участью Марии-Антуанетты, при этих словах бог весть что себе вообразила!

Так вот Берта. Она *ставила производство.*

Много лет спустя, в последний свой приезд на родину, о тете Берте мы вспоминали со стареньким отцом моей подруги. Он сидел в кресле на террасе своего дома, построенного когда-

то на прибыль с тех же гребешков, или подушек, или еще какого-нибудь подпольного товара, уже не в силах подняться мне навстречу, дробно кивая каждому своему слову, будто заигрывал с «Паркинсоном», что оставлял ему все меньше свободы жестов.

– О, Берта Па-а-а-вловна! – подняв трясущийся палец, говорил бывший цеховик. – Это была светлейшая голова-а! Она с ходу тебе называла суммы вложения, оборот, проценты… Она тебе всю карту дела выкладывала. А под рукой ни карандаша, ни листочка, ни, упаси боже, деревянных счетов. Разве сравнить с этими современными пустозвонами с ихними электронными считалками? Нет: Ротшильд! Морган! Рокфэллер! – вот кем она стала бы в другое время и в другой стране… – Трясущейся рукой старик достал конфету из вазочки, стал неловко разворачивать и уронил в чай.

После войны Берта с Мишей из Чирчика перебрались в Ташкент, купили на Асакинской половину домика – две комнаты, кухня, выходящая на террасу, – типичное ташкентское жилье середины века. Железную, крашенную серебрянкой печку зимой надо было топить. И Берта экономила на угле.

Мы с мамой часто бывали у них в гостях зимними вечерами; помню зябкого, в трех старых кацавейках, дядю Мишу.

– Бэрта, ребенок пришел! – взывал он к своей немногословной жене, и в эти минуты очень похож был на старого Чарли Чаплина, бродягу из «Огней большого города». – Ну дай же подкинуть уголек, Бэрта!

– А что, у нас холодно? – недоуменно спрашивала румяная Берта. – У нас совсем тепло. А если ты мерзнешь, так надень еще одну шмату…

Помню и летние вечера, жужжание мух в прохладе высоких потолков, стол на террасе, накрытый к чаю. Прозрачно-золотистое варенье из айвы в пиалах и желто-черная воронка над ними жадных ос – Миша, гони от ребенка эту заразу!

Дядя Миша, маленький, с поредевшей волной седых кудряшек, стоит надо мной с кухонным полотенцем, свернутым в жгут: гоняет ос. На добрейшем лице остервенение. Долгие разговоры и препирательства с Бертой на тему – а я говорю, варить кипятком их проклятые гнезда!

* * *

Нас с ним связывала большая любовь. Какая-то необъяснимая тяга друг к другу двух разведенных во времени душ. Бывало, он забирал меня из детского сада и вел в зоопарк. Моя рука и сейчас помнит шершавую мягкость его теплой ладони.

Какое счастье, что физическое тепло вполне осязаемо входит в тепло душевное и остается в памяти до самого конца.

Я пишу эти строки в своем кабинете, в окне – волнистые холмы Иудейской пустыни, а сама я в то же время иду с дядей Мишей по улице Асакинской, вдоль трамвайных путей, осторожно перепрыгивая через трещины в асфальте; осторожно, потому что в кармашке моего синего платья – выклянченный у дяди Миши подарок: новорожденный черепашонок размером с гривенник. Ему и цена-то гривенник, только хлопот полон рот: сначала идти в дирекцию зоопарка, брать разрешение на покупку, тащиться с этой бумаженцией на другой край огромной овражистой территории, чтобы поставить печать и уплатить в бухгалтерию, и лишь затем в полутемном сарае за обезьяньими клетками выбирать в огромном деревянном ящике, в каше копошения сотен черепашат, твоего единственного друга с кожистым янтарным панцирем, тощей шейкой и змеиной головенкой, похожей на коробочку.

– Ну… бери любого, и уже пойдем, – говорит дядя Миша, вытирая потный лоб носовым платком.

– Подожди…

– Ну, это же такая чепуха, даже смешно… Они все одинаковые!

– Нет, не одинаковые, ты не понимаешь!

Мы проводим у ящика еще с полчаса, я – свесившись по пояс внутрь, перебирая черепашат, похныкивая, что надо брать уже сразу двоих, или лучше… троих… А то ему будет скучно…

– Давай завернем его в лопух, – предлагает дядя Миша на обратном пути.

– Зачем?!

– Чтобы он не закакал твое такое прелестное платьишко.

– Нет, он задохнется! Нет, задохнется! Нет!!!

– Ай, не упрямься… – Он срывает лист лопуха над арыком, и мы, ссорясь, вскрикивая, охая и несколько раз роняя на землю растопыренного черепашонка, наконец заворачиваем его в лопух, а он вытягивает шею, гребет по воздуху лапами, как упорный и безнадежный пловец в океане, и так хочется посильнее сжать нежный пружинистый панцирек, проверяя – не выпрыгнет ли при давлении наружу то, что внутри?

На каждой прогулке дядя Миша кормил меня мороженым и притчами. Мороженое выбиралось на лотке долго, чаще всего эскимо в серебристой обертке. Нет, не это! Вон то! Нет… то, что вы сейчас взяли, а потом положили…

– Дедуля, ну и балуете ж вы ребенка!

Мы сидим с дядей Мишей на деревянных, еще холодных после зимы скамейках в сквере Революции, мои ноги в сине-красных, с лакированными круглыми носами ботинках не достают до земли, на коленях развернут большой дяди-Мишин носовой платок – чтобы не закапать, боже упаси, такое прелестное платьишко! Ну, слушай жизненную историю… И запомни ее навсегда… Летит старый орел над высокими горами, и несет он на спине своего сына, орленка. И говорит ему…

– Почему? Тот еще не умеет летать?

– Не умеет, – скорбно говорит дядя Миша, так, что у меня отпадают все сомнения в реальности этого странного перелета. Правда, много чего стоило бы уточнить: куда они летят и зачем? И к чему такая срочность, что уж и не подождать, пока орленок станет летучим? Вообще к любой истории у меня готова масса дурацких вопросов, и дядя Миша никогда не скажет, как остальные взрослые, – замолчи, не перебивай, ты не умеешь себя вести, – будет терпеливо отвечать, но я вижу, как грустно покачивает он головой, как наливаются скорбью его глаза, и молчу.

Ну, давай, что там за жизненная история с говорящими орлами…

– И говорит старый орел сыночку: «Видишь, дитя мое, я несу тебя через горы, через моря… Так далеко я лечу, и так мне тяжело, но я несу своего сына из последних сил. А ты, когда станешь взрослым и сильным, а я буду старым и слабым… понесешь ли ты меня на своей спине?»

М-м… логично. Почему же дядя Миша грустно умолкает, и укоризненно кивает собственным мыслям?

«Нет, – отвечает орленок. – Когда я стану большим, я понесу на спине своего сына…»

М-м… тоже логично, ничего не скажешь: если орел будет таскать на спине папашу, кто тогда понесет малыша?

– А дальше? – спрашиваю я. – Орел рассердился? Сбросил сына в пропасть?

– Боже упаси, – пугается дядя Миша, – кто же бросает в пропасть своих детей…

– Но что же было дальше?

– А ничего. – Дядя Миша вздыхает. – Я же сказал тебе – это притча. У нее нет конца. Есть только высокий смысл, понимаешь? Ничего, ты еще вспомнишь и поймешь, ты потом оценишь…

* * *

Умер дядя Миша внезапно, ранней холодной весной. Лег с вечера спать и утром не проснулся. Дал же бог такую смерть, говорили в родне. Завидовали…

Я училась во втором классе и не помню, чтобы сильно горевала. Нет, я не была бесчувственной идиоткой, просто поток жизни проносил сквозь меня целый мир с такой сокрушительной силой, что я не успевала оборачиваться.

Оплакивать дядю Мишу я начала совсем недавно, сейчас, когда мне стало совершенно ясно, что я и в самом деле больше не увижу его никогда. Никогда. Это слово является нам в полном обнажении смысла именно в тот момент, когда притча подходит к концу, а нам так хочется продолжения. Хотя мы уже отлично знаем, как жестоко обрывается настоящая притча.

На похороны меня не взяли, и, гоняя гальку по непросохшему весеннему асфальту, исчерканному в классики куском кирпича, я увидела, как во двор к нам въехал «рафик» и из него вышли мама, бабушка, мои дядя с тетей и старенькая сгорбленная Берта в платке. Они молчащей вереницей прошли мимо меня к нашему подъезду, заплаканная мама бросила: «Поиграй еще, поиграй…» – видимо, не хотела, чтобы я болталась под ногами в нашей небольшой квартирке, куда она зазвала родных согреться чаем и перекусить после похорон.

Я осталась стоять, ошеломленная смиренным преображением Берты из женщины в старуху. Что – платок? горестная сутулость? – от чего зависит этот поворот рычага в мироздании каждого человека?

Словом, Берта осталась одна и жила себе дальше еще много лет, по-прежнему покупая твердую зеленую айву на варенье, гоняя полотенцем ос и время от времени продолжая давать финансовые консультации воротилам подпольного бизнеса.

– Светлейшая голова! – вздыхали знакомые и родственники.

Денег за советы она ни с кого не требовала, печь топила зимой только в сильные холода, берегла копейку и активно посещала «партейные собрания».

Между тем ташкентская почва копила в недрах горючую ярость, которая взыграла апрельской ночью 1966 года несколькими мощными толчками, не слишком заботясь о владельцах глиняных особнячков вроде того, в каком обитала Берта. Не то чтобы дом рухнул вдруг кому-то на головы, нет. Правда, одна стена треснула и пошла вбок, и соседи подперли ее двумя толстыми бревнами. Но этот катаклизм так удачно взбодрил вялую «партейную» тему дружбы народов, что весь центр города на всякий случай пустили под бульдозер. Над палатками развевались транспаранты с именами городов – Новосибирск! Челябинск! Ростов! Гигантская стройка развернулась в пыли среди ревущих экскаваторов. Исполины-чинары, под кронами которых столетиями клубилась лиловая тень, падали с грохотом на пустырях, где вчера еще вдоль улиц струился тихий лепет арыков.

Бертин домик был порушен за здорово живешь, но зато ей дали однокомнатную квартиру в одном из быстро возведенных районов. Она была страшно довольна: эпоха ведерка с углем, лопатки, садовой тяпки и прочего земельного инвентаря навсегда уходила из жизни. Мой дядя Яша, мамин брат, самолично перевез ее на новую квартиру, и целый час Берта гуляла по своей жилплощади, ладонью лаская ребристые батареи парового отопления, ахая перед кладовкой и с удовольствием вдыхая запах масляной краски.

– Что твоя королева! – приговаривала она зачарованно. – Я буду жить, что твоя королева!

…Глухая королева, добавлю я. Да, это наше семейное – к старости мы глохнем.

Берта, кругленькая румяная старушка, никак не хотела пользоваться слуховым аппаратом. То ли экономила, то ли считала затычку в ухе чем-то позорным. Но теперь, когда мы с

мамой приходили к ней в гости, надо было колотить ногами в дверь и одновременно остервенело давить на кнопку звонка, чтобы дозваться. С каждым визитом голос в разговоре с Бертой повышался на полтона.

– Когда я возвращаюсь от тети Берты, – говорила мама, – я и шепотом не в состоянии говорить. Ни один самый тяжелый класс, даже седьмой «Б», не стоит мне такого напряжения голосовых связок.

Дважды в год мама торжественно приглашалась для сакрального ритуала: Бертина каракулевая шуба (приобретенная когда-то у адвоката, вдовца, что распродавал гардероб покойной жены), весной отправлялась «в нафталин», а осенью из нафталина извлекалась – седоватая, с маслянистым блеском на крутых завитках, рождалась, как Венера из пены морской.

– Вчера была в ЖЭКе на партейном собрании, – докладывала Берта. – У меня украли авторучку.

– Ага-а! – кричала мама. – Это все твои партейцы!

– Собрание было открытым, – возражала та.

Она следила за здоровьем. Если шла в булочную, просила там разрезать буханку строго надвое, и возвращалась, держа в обеих руках по половинке, – для равновесия, «для укрепления тела». Объясняла нам:

– Я одинокая, за мной ходить некому…

Правда, совсем уже в глубокой старости Берта все-таки прибилась к семье своего племянника, моего дяди Яши. Ее светлейшая голова, как всегда, просчитала все наперед.

В один прекрасный день она явилась к нему, плотно уселась в кухне на стул и, медленно проговаривая слова дребезжащим голосом и расправляя обеими ладонями скатерку на столе, предложила родственный обмен: она перепишет свою квартиру на Семена, Яшиного старшего обалдуя, а сама переедет сюда, в его комнату. И для всех наступит покой.

К тому времени Семен, с детства трудный мальчик, вырос и вполне профессионально терроризировал всю семью. Так что подобное предложение для дяди Яши действительно грянуло как сошествие с небес архангела Гавриила. Тут же были уточнены хозяйственные условия – на этом настояла Берта. Она ежемесячно отдает в семью свою приличную пэнсию – аж тридцать пять рублей, деньги немалые, на мелкие же личные удовольствия добавляет из накопленных с Мишенькой «срэдств» и живет себе до логичного конца в покое и тепле, в большой квадратной комнате с двумя окнами.

Обоюдному – да что там обоюдному! – тройственному счастью, казалось, не было предела: дядя Яша приобретал тихую, чистоплотную и еще бодрую тетку вместо великовозрастного скандалиста с его вонючим мопедом и оглушительным транзистором; Семен отчаливал на свободную хату – води кого хошь! А Берта…

Берта, перетаскивая свои пожитки в большую и светлую комнату в квартире племянника, и предположить не могла, во что влипла на старости своих глубоких лет. Ибо в соседней комнате этой квартиры обитала Рахиль, ее родная сестра. Моя бабка.

Ну и что? – скажете вы, и любой скажет. Замкнулся круг длинной жизни, две ленты сплелись: две родных сестры, две вдовицы, две старые голубки оказались под одной крышей, – как много лет назад в Золотоноше, в доме своего отца Пинхуса Эльевича…

Положим, обе они голубками не были никогда. Рахиль, моложе Берты на три года, третья по счету, – та, что сидела на завороте и устанавливала немыслимые рекорды, конфета в секунду, ну в две! – обладала лютым характером и с первого дня встретила сестру в штыки. Тесно ей было с Бертой. Подмечалось все: сколько та кладет сахару в чай, где ставит боты в прихожей, как и когда вывешивает на балконе белье… Не могла бабка простить сыну, что в дом закралась врагиня. Ревновала так, что искры летели. Припоминала ей все.

– Мишу-то, Мишу угробила! – кричала бабка в коридор. – Бедный, мерз всю свою жизнь, а она для него угля жалела!

В особо тяжелых случаях для арбитража вызывалась моя мама, и возвращалась оттуда в совершенном отчаянии. Уверяла, что в ссорах зачинщица – бабка, знала материнский нрав.

Раза три она и меня брала с собой, разрядить обстановку. Я училась уже в десятом классе спецмузшколы для одаренных детей, публиковала рассказы в популярном московском журнале, и – что гораздо серьезнее! – в газете «Вечерний Ташкент» уже вышло со мной интервью, где последним вопросом значилось – «Ваши творческие планы?». Предполагалось, что старухи меня постесняются. Ничуть не бывало! В один из этих визитов я и услышала брошенное бабкой: «Убийца!» – в Бертину сторону. И посчитала бы это фигурой речи, если бы не мгновенно изменившееся мамино лицо и сдавленный ее вопль: «Молчи!!!» Вот тогда, на обратном пути, в трамвае мама и рассказала в общих чертах – я бы все равно не отстала – историю этой любви и преступления.

Я пришла в неописуемый восторг. Представила хорошенькую растрепанную Берту в полицейском участке, обезображенный труп ее брата-возлюбленного на мостовой…

– Да-а-а, – протянула я с удовольствием, – семе-е-ейка! Прямо всадник без головы!

И немедленно все забыла по причине оголтелой юности.

Помню сцену, одну из последних. Мы с мамой пришли в гости «к бабкам» (две обязательно одинаковые коробки конфет или две пары одинаковых рейтуз, но разного цвета, чтоб не передрались)…

Дверь в комнату к Берте была прикрыта, и оттуда несся громкий мужской голос:

– Так вы советуете, Берта Павловна, все вложить в материал…

И что-то тихо на это отвечала Берта.

– Но он готов проценту дать только три, максимум четыре! А оборот весь…

И снова тихий голос старухи.

Потом дверь отворилась, гость от Берты вышел, она проводила его и направилась в кухню.

– Одного угробила, второго угробила… А сейчас морковку будет себе тереть! – ядовито сообщила бабка.

Я, всегда алчная к деталям, немедленно бросилась в кухню, якобы напиться. Берта стояла и терла морковку. Я поздоровалась, чмокнула ее в румяную пергаментную щечку. Она кивнула на влажную оранжевую горку в миске и четко проговорила:

– Мне за собой смотреть надо! Я в одночасье должна умереть. За мной ходить некому…

И что вы думаете? Как сказала, так и сделала!

Ей исполнилось девяносто лет, и умерла она так же, как ее трепетный муж: прилегла отдохнуть, а уж вставать посчитала излишним. Накануне в очередной раз по Бертиной просьбе мама убаюкала адвокатскую каракулевую шубу в нафталин. И обратила внимание на то, что Берта не сказала, как обычно: «Пусть полежит до зимы». Только проводила молчаливым взглядом за маминой рукою путь металлической молнии на брезентовом мешке.

На похороны явилась вся Бертина партячейка – девять старичков, как один; очень горевали, качали головами, поверить не могли: «Как же так! Неделю назад она была на партсобрании. И выступала!»

На сберкнижке у Берты от всех накопленных с Мишенькой «срэдств» оставалось 32 рубля 40 копеек. Видимо, ее светлейшая голова точно просчитала нерентабельность дальнейшего существования.

– Слушай, – сказала я маме на днях, вернее, проорала: мама стала стремительно глохнуть, а слуховой аппарат носить не желает. У нее на это какие-то свои резоны, но после нескольких часов общения мои голосовые связки приходят в жалкое состояние, и я даю себе слово, что в старости, когда оглохну, воткну себе слуховые динамики в оба уха. Пожалею детей.

Нет, я понесу на спине своего сына…

– Слушай, я тут настрочила рассказик про Берту. Чего сюжету пропадать…

– Про кого?

– Про Бер-ту!!!

– Чего вдруг? – говорит мама, нарезая овощи для супа. – Тоже мне сюжет…

– Ну-ка напомни: где она могла раздобыть серную кислоту?

– Что раздавить?

– Раз-до-быть! Отраву эту! Кислоту! Где взяла?!

– Фрадкин дал, подлец.

– Кто-о-о?!

– Ну, Катин же муж, Яша Фрадкин. – И спокойно смотрит на мое оторопевшее лицо. – Муж Екатерины Афанасьевны, самой старшей ее сестры. Я тебе рассказывала. Ты просто помнишь только то, над чем сейчас работаешь.

– Ни черта! Ты! Мне! Не рассказывала!!! Ну-ка давай, гони историю!

– Яшка-бандит сначала работал у деда, твоего прадеда Пинхуса Эльевича, учеником-кондитером. А когда он окрутил Катю – просто не подпускал к ней никого, бил морды всем ухажерам, она за него со страху вышла, – он быстренько украл все рецепты деда и ушел, и через три улицы создал свой собственный конфетный цех… Вот он Берту и подучил. Ты, говорит, только брызнешь маленько, пугнешь его, чтоб женился… И кислоту он же где-то достал. А она вон как, не рассчитала…

– Елки-палки!!! Я почти закончила рассказ, а ты мне еще какого-то Яго подсовываешь! Выходит, Берта не преступница, а жертва?!

– И жертва, – говорит мама, опуская картофелину в кастрюлю. – И преступница. Понимаешь, у Берты – может, ты не помнишь – была…

– …светлейшая голова, – нетерпеливо перебиваю я. – Ну и что с того?

– Яшка хотел переманить ее к себе в цех. На ней же у деда все финансы держались. А тут такое… Они с Катей мгновенно собрались и покатились – аж до Ташкента. Я рассказывала тебе, как в первые месяцы войны совсем девчонкой приехала к ним одна, поступать в Среднеазиатский университет, и сбежала буквально через неделю в общежитие: смотреть, как этот гад издевается над тетей Катей, не было сил…

– Стоп! – говорю я. – Это другой рассказ. Ты мне здесь не смешивай краски…

– Вот так всегда, – вздыхает мама. – Тебя ничего не интересует из того, что не влезает в сюжет.

– Значит, суд отпустил ее после родов, потому что присяжные решили, что настоящим преступником был?..

– Нет! – Говорит мама твердо. – Берта не выдала этого негодяя. Ни словом не обмолвилась – девчонка, восемнадцать лет! У нее были железные принципы… А на суде ее спасли братья убитого. Так и сказали оба, в один голос: «Этот ребенок до рождения потерял отца. Не лишайте его матери!»

Мама умолкает и пробует ложкой суп: конечно, это не патока, ароматы наших конфетных угодий окончательно развеялись в начале прошлого века, но уж приличный овощной суп женщины моей семьи сварить еще в состоянии.

– И знаешь, что интересно… – вдруг говорит она. – Берта, единственная из всех пяти дочерей, каждый месяц первого числа – день в день до самой войны! – посылала родителям

денежные переводы. Довольно приличные, как говорила она, «срэдства». Это их очень поддерживало.

Между прочим, я пришла к выводу, что любой мастеровой навык, приобретенный человеком в том или другом семейном производстве, передается детям и даже внукам. Вот мама моя – историк, серьезный, далекий от фантиков человек – всегда с необычайной сноровкой пухлых своих пальцев, приговаривая: «Ловкость рук, и никакого мошенства!» – может развязать мельчайший узелок на нитке, на цепочке. Да и я, не говоря уж о минувшей фортепьянной беглости пальцев, хоть сейчас заверну вам, упакую любую посылочку-передачку так, что сердце возрадуется.

Было бы что заворачивать.

Было бы кому посылать.

И бог его знает – куда уносятся все эти дни, и годы, и даже века… Что за неутомимая заворотчица все крутит там и крутит сладостные мгновения наших судеб.

Необъятные горы безысходных конфето-секунд…

Цыганка

Вот наконец я дорвалась.

Сейчас напишу об этой цыганке, о прапрабабке своей, о которой понятия не имела, но однажды услышала краем уха о себе: «Тс-сыганская кровь!» – отцом оброненное, после очередного моего побега из школы.

Позже вытянула из матери – чуть не клещами – куцую фамильную историю, да мать и сама ее плохо знала.

Бабка же на мои домогательства неизменно отвечала: «Что ты, мамэле, какая такая цыганка?! – Хоть и сидела уже в инвалидном кресле, кремень старуха была, характер адский и голова ясная. Оберегала семейную чистокровность. – Какая такая цыганка?!»

С детства я уже чувствовала ее – и пресловутую кровь, и саму эту тень за моим затылком.

Проявлялось ее вмешательство в мою жизнь не сразу, но убийственно надежно. Возможно, поэтому – так мне кажется сейчас, когда все более или менее прояснилось, – если обижали, я вела себя незлобиво, обиду принимала, то есть не отвечала на нее, на обиду, – будто знала, что накажут и без меня.

Наказывали страшно. Убедительно. Когда разрозненные события, пугающе повторяясь, стали выстраиваться в некий зловещий ряд – я оробела. Оробела той огромной смиренной робостью пред высшими силами, которые не приемлют ни заступничества за виноватых, ни мольбы о пощаде, а требуют лишь склоненной головы и немоты.

Потом уже, задним умом, или, как говаривала бабка, задней памятью, я вспоминала все переломанные руки-ноги своих дворовых и школьных обидчиков: тот мне пенделя отвесил, другой уже сильнее побил, а этот из игры выгнал или денежку в школьном буфете отобрал, а вон тот гонял мою шапку по грязному асфальту вместо футбольного мяча…

Приходило это недели через две-три:

– Никольский?

– Здесь!

– Оганесян?

– Здесь!

– Рахматуллаева?

– Здесь!

– Сумашин?

Тишина…

– Сумашин здесь?

– Сумашин руку вчера сломал, Наталья Михална!

Я не злорадствовала – наоборот, внутренне ахала, обмирала… Страшной была моя тайна.

В пятом классе балбес-переросток Мишка Петруненко подстерег меня на велосипеде за школой, наехал сзади и, когда я свалилась в кусты мальвы, соскочил с седла, несколько раз больно ущипнул меня за грудь, которая и без того все время болела, и, визгливо хихикая, умчался в стрекотании спиц.

Я неделю не ходила в школу. Просто не ходила. Ноги в ту сторону не шли.

Через неделю Мишка разбился на велосипеде. Три месяца лежал в больнице, еле выкарабкался, но рука – преступная, правая! – так и не восстановила подвижность.

Поскольку бога не было – в те годы не было бога, – в детстве я молилась д'Артаньяну, возлюбленному, совершенно уверенная, что он внимает мне с какого-нибудь облака, подкручивая мушкетерский ус.

– Д'Артаньяша, – молилась я, захлебываясь ужасом и слезами, – не надо больше, не надо! Это было не так уж больно, только стыдно, ничего, я уже не чувствую, и синяки прошли!

Понимала непомерность расплаты. И чуяла, что мушкетер там – сошка легкомысленная. Чуяла: наказывают не за копеечную боль и не за жгучий стыд. Наказывают за причиненное зло. Кто, кто, кто-о-о?! – вот что меня парализовало. Грозная тень за моим затылком – не хранителя, нет. Наказывателя обидчиков.

Самое же страшное пришло, когда со взрослением сменились обиды.

Помню первое жертвоприношение. Не нога, не рука… Жизнь человека! Целиком, окончательно, страшно – и безжалостно связано со мной.

Он был толстым, обычным пожилым нацкадром. Сколько я их перевидала, за скольких написала степные кишлачные саги любви – смешно и тошно вспоминать. Но этот был первым. Возможно, человек и неплохой, но растленный советской властью до наглой нирваны. За него уже написали диплом и диссертацию, а теперь он хотел считаться и писателем на всякий случай, в подражание тогда еще здравствующему хозяину республики. Тот тоже писал книги. На Востоке это бывает: сатрапы сочиняют поэмы…

Сосватал нас мой приятель, редактор издательства имени Гафура Гуляма. И творец воодушевленно приволок дежурную повесть о семи печатных листах, о любви и борьбе за землю, политую слезами и потом дехкан (эти два мотива чаще, чем другие, кочевали рука об руку из одного произведения узбекской советской классики в другое).

До сих пор нацкадра обслуживали белые рабы мужского пола. Вероятно, при виде меня он решил, что на сей раз возделывание литературной плантации будет включать и кое-какую дополнительную мою повинность.

Я тоже была воодушевлена, но по другой причине. После долгого застоя в заработках на меня свалился приличный кусок честной халтуры. За такую пахоту обычный гонорар был – рублей пятьдесят за лист. Я ликовала, умножая пятьдесят на семь. На эти деньги я собиралась вывезти к морю трехлетнего сына. Всю зиму перед сном описывала ему волны, песочек, дельфинов, обещала заплыть далеко-далеко, только я да он у меня на спине…

Когда «перевод» был готов, мы встретились с заказчиком на станции метро, и с радостным облегчением я вручила ему толстую папку с готовой рукописью.

– Динкя-хон, – проговорил он, ласково на меня глядя, – ти Гагра морь любишь?

– Очень люблю. – Я вежливо улыбнулась, ожидая, когда он наконец нырнет ковшиком ладони во внутренний карман пиджака, вытащит конверт и мы расстанемся, к обоюдному удовольствию, до следующего его «произведения». О любви. И о борьбе дехкан за землю.

– Я тибе к морь повезу… – мягко продолжал он, не сводя с меня уже по-хозяйски щупающего взгляда. – Поезд-билет куплю, койкя санаторий плачу… Зачем тибе денгя? Вместы со мной Гагра едишь…

С минуту я еще стояла, удерживая на губах беспомощную улыбку – не могла поверить, что так обидели. Затем повернулась и пошла… Сквозь пелену слез дороги не различала и на выходе из метро споткнулась и разбила коленку о ступени.

Через две недели позвонил редактор и сокрушенно сообщил, что «наш общий друг» утонул вчера в Гаграх. В первый же день отдыха. Представляешь? Заселился в номер, вышел на пляж, подтянул трусы, бодро побежал в воду… и назад не вернулся.

Я оледенела от ужаса… Дней пять бродила как чумная. Оглядывалась, когда заходила в подъезд. Избегала смотреть на себя в зеркало…

Куда бежать? В милицию? И что там говорить?

Несколько дней я спала, укрытая с головой одеялом, свернувшись, как эмбрион.

Но постепенно распрямилась…

Я решила сопротивляться. Как библейский Иаков, боролась во тьме. Своеобразной была эта борьба: неделями я не выходила из дому, уклонялась от встреч с кем бы то ни было, *дабы не провоцировать*. Плакала ночами, уговаривала неизвестно кого – пощадить… Вела бесконечные диалоги черт его знает с кем. А когда все же оказывалась на улице, прошмыгивала мимо знакомых, опустив глаза. Теперь я знала, что чувствуют прокаженные.

В считаные месяцы я превратилась в законченного невротика, и однажды не вынесла одиночества тайны и рассказала обо всем приятелю – поэту, алкашу, славному парню.

Дело происходило на террасе летнего кафе, одной из тех ташкентских забегаловок середины семидесятых, где днем можно было недорого пообедать, а вечером отведать этих же блюд, но уже суточной свежести и по иным, более уважительным ценам.

Приятель был нетрезв, я мрачно оживлена, поскольку впервые за два месяца решилась выйти из дому. В зале гремела музыка ансамбля «Ялла», на столик то и дело наваливались терявшие равновесие потные пары; наша общая подруга, актриса, праздновала свой третий удачный развод.

Пусть, подумала я, даже интересно – как отреагирует. В крайнем случае скажу, что приснилось с бодуна.

Он выслушал спокойно, со вниманием, насколько можно было это внимание собрать после энной рюмки. Подлил еще вина себе и мне. Помолчал…

– Так ты присмотренная, – сказал он просто, – вот и все. Дело известное.

– Кому – известное? – напряженно спросила я, будто разговаривала с чиновником небольшого ранга, но все же из той, небесной канцелярии, и папка с моим личным делом стояла за его спиной в шкафу или где там их хранят, эти папки… И ему стоило только руку протянуть, чтоб полистать и разобраться. И все уладить наконец, к чертовой матери! – Вообще, что это значит?

– А то и значит: присматривают за тобой.

– В смысле… оберегают?

– Да нет, старуха, кой там черт – оберегают! Наоборот. Через тебя учат. Понимаешь?

– Нет, не понимаю!

Я заволновалась. Даже разнервничалась.

– Ну вот, смотри… Там, сверху-то… – Он опрокинул над своей рюмкой опустевшую бутылку и две-три секунды ее потряхивал, как верующий в надежде на чудо. – Ты представляешь, каково это – за каждым наблюдать? Это ж рехнуться можно, сколько времени и сил, да сыт… сотрудников требуется… Тогда они…

– Кто они?! – закричала я сквозь гремучий шейк.

В те годы, как и сейчас, впрочем, я не имела четкого представления об иерархии высших сил – да и кто его имеет-то, сказать по совести, – но все же подозревала, что ни время, ни число… сотрудников большой проблемы там, наверху, не составляют.

– Какая разница! – Он икнул, отодвигая локтем чью-то назойливую задницу, что вращалась под музыку так, словно обладательница ее трудолюбиво вкручивала штопор в бутылку. – Ты спросила, я отвечаю. Мне лет двадцать назад этот ме… ханизм объясняла одна старая армянка… Она чу́дно гадала и с покойниками разговаривала, как мы с тобой сейчас. Так вот, она сказала: выбираются отдельные э-э-э… объекты. Вроде подсадной утки, извини. И уж за вами – строжайший глаз да гла-а-аз! Типа глазок в тюремной камере… Вам без конвоя даже по нужде не выйти. Но зато всем гадам, кто тебе подосрет, бошки-то поотрывают, все-е-ем! Урок такой, понимаешь? «Анатомия доктора Тюльпа»! – Он расхохотался своей остроте и, уже тускнея глазами, добавил: – Мастер-класс потусторонних сил…

Неплохая перспектива, уныло подумала я, – всю жизнь быть учебным пособием для злодеев. Да нет, что за чепуха! Мало ли что несет этот алкоголик!

Но разговор запомнила дословно, тем более что впоследствии правота моего нетрезвого собеседника подтверждалась с регулярностью ужасающей. Да, я была подсадной уткой, черт побери! На мне бессмертные души учились уму-разуму: сдавали зачеты и курсовые, получали переэкзаменовки, взыскания, а в особо запущенных случаях бывали отчислены из этого высшего – пожалуй, наивысшего – учебного заведения.

Иногда, по тоскливому предчувствию определяя очередную «несдачу зачета», я пыталась предупредить возможных фигурантов осторожными намеками. Меня понимали неправильно, усмехались, озлоблялись, даже не догадываясь, что озабочена я отнюдь не своим благополучием. Отнюдь.

Дошло до того, что с известными хамами я начинала беседу заискивающим тоном – на всякий случай, чтобы, упаси боже…

Увы. Они сами разыскивали меня, как летом в пустом здании школы восьмиклассники ищут дежурного преподавателя, чтобы сдать ему «хвост» по геометрии.

Нет сил пересказывать ряд эпизодов. К тому же я не совсем уверена, что за пересказ – как и вообще за эту новеллу – меня по головке погладят.

Однако вернусь к цыганке.

В девяностом, перед самым отъездом в Иерусалим, я оказалась в родном городе. Надо было помочь родителям собраться, как-то разгрести завалы целой жизни в преддверии нового переселения в иные земли.

В тот суматошный приезд, выклянчивая на задах окрестных продмагов пустые картонные ящики для упаковки-утрамбовки багажа, невнимательно листая альбомы со старыми фотографиями, которые не видела много лет, и бегло проглядывая старые письма, я наткнулась на карточку – из тех коричневых, «дореволюционных», которые поражают добротной выделкой давно минувших лиц, добросовестной передачей бликов на запонках, булавках, ручках кресел и носках туфель, что выглядывают из-под клетчатых юбок со складками скульптурной осязаемости.

На карточке в таком вот кресле, в такой вот юбке сидела я. Волосы, правда, разделены пробором и собраны в узел.

Смутно я помнила эту карточку; в детстве она не раз попадалась мне на глаза, и никогда в этой женщине средних лет я себя не опознавала. Ясно почему. Ну а сейчас, видно, самое время опознать и пришло.

На пожелтевшем обороте между жирных и чернильных пятен с трудом я разобрала беглую с ятями надпись: «На добрую память дяде Моисею и тете Кларе от вашей «Ди Цыгайнерс». Берегите! С поцелуями, любящая вас…» – завитки и прочерки…

– Ма-ам! Что за баба тут на карточке с моим лицом?

Мама вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, надела очки.

– А! Действительно. Очень похожа! Это же сестра твоего деда, она умерла от тифа году в тридцать втором… Рива. Или Нюся? Нет, Нюсю же немцы расстреляли. Рива, да.

– А почему «Ди Цыгайнерс»?

Мама замялась.

– Да их всю семью вообще звали цыганами. По той их бабке, я когда-то тебе рассказывала.

– Ну-ка, ну-ка…

– Отец… да нет, постой… не отец, а дед твоего деда, моего папы, значит… как это тебе – прапрадед, да? Точно. Он привез с ярмарки цыганку. Перед свадьбой поехал выбирать подарки своей невесте. Все они, представь, рыжие, конопатые украинские евреи, крепко стоящие на земле… И невеста у него была как все – рыжая, конопатая, крепенькая… Так вот, поехал он за

подарками, а вернулся с таким подарочком – не дай бог! Настоящая кочевая цыганка. Прожил с ней всю жизнь, прижил четверых детей, кучу внуков. Между прочим, я эту старуху видела в детстве тем летом, когда папа привез нас в Жовнино.

– А что это – Жовнино? Деревня?

– Да сейчас уже ничего, пусто… озеро сейчас. А тогда было село, большое дивное село. И в голодное лето папа перевез туда, к деревенской родне, всю семью. Купили на паях корову, и мы, детишки, выгоняли ее и пасли – мне-то лет шесть-семь было, а все двоюродные-троюродные были постарше. Эта корова нас спасла от голодной смерти. Мы ее пасли на взгорке рядом с церковью – замечательная высилась церковь на горе, отовсюду была видна. Кладбище при ней, трава густейшая, паси – не хочу… А когда, уже после войны, я с тобой, маленькой, приезжала в Полтаву и хотела наведаться в Жовнино, соседи сказали, что села нет и в помине! Затопили водой, по плану. Под водохранилище… А церковь ломали-ломали, взрывали-взрывали… а она не поддалась. Ну, ее так и затопили. Высится, говорят, колокольня посреди озера…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.